

МАРК ЛАНГЕ

ТЫ ТОЖЕ
ТАК ДЕЛАЕШЬ

ГРОССМАН М.

18+

Марк Ланге

Ты тоже так делаешь

«Автор»

2026

Ланге М.

Ты тоже так делаешь / М. Ланге — «Автор», 2026

Одна училась быть человеком — и не успела. Другая перестала им быть — и не заметила. Первый том — о надзирательнице, которая просыпается в тот момент, когда изменить уже ничего нельзя. Второй — о женщине, которая засыпает так, что никто, включая её саму, не замечает момента, когда это произошло. Это не роман о Холокосте. Это роман о порядке как живом существе. О том, как порядок не нуждается в идеологии. Как он переживает своих создателей. Как он воспроизводится через обычных людей, которые просто хотят, чтобы всё было на своих местах. И как этот порядок убивает — не газом, не пулей, а заботой. Одни уходят. Другие гаснут. Третьи возвращаются и умирают. А та, кто искренне считает, что чинит мир, не понимает, что делает. Она не злодей. Она — форма. И в эту форму всегда можно влить новое содержание. Потому что ты тоже так делаешь. Выбираешь одного. Не самого красивого. Не самого жалкого. Просто одного. И не знаешь почему.

© Ланге М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
КНИГА ПЕРВАЯ. SCHNELL	8
1	8
2	12
3	18
4	24
5	30
6	34
7	38
8	42
9	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Марк Ланге

Ты тоже так делаешь

Пролог

Хамельн, 13 декабря 1945 года, 09:34

Камера пахла сыростью и собственным телом — этот запах уже не отделить от стен, от серого одеяла, от железной койки, в которую она всматривалась всю ночь; запах извёстки, мочи, немытой кожи и чего-то ещё, может быть, страха, который выделяется через поры, даже когда мозг говорит, что страха нет. Она лежала на спине, глядя в потолок, где трещина повторяла изгиб Вислы — она видела эту карту тысячи раз, настоящую Вислу, не из трещин. Сон не приходил; если и приходил, то сжимался в кошмар, где те же стены, тот же запах, та же петля, только во сне она уже падала, и падение длилось бесконечно, а сейчас оно будет длиться одну секунду, может быть, две, и в этих секундах уместится вся жизнь — двадцать два года, три месяца, шесть дней.

Сердце хотело жить. А она? Не знаю. Можешь себе представить, что в последние минуты, когда верёвка уже натянута, палач поправил петлю, а в камере пахнет страхом, — ты думаешь о волосах? Я не могу. Но она — да. Или мне так кажется.

За стеной пела Фолькенрат — не песню даже, обрывки, хриплые выкрики, которые должны звучать как вызов, но звучат как предсмертный хрип, как попытка удержаться за что-то, что уже ушло, что рассыпалось пеплом по всей Германии, от Берлина до этого маленького городка, где когда-то ловили крыс, а теперь ловят души; Фолькенрат пела «Die Fahne hoch», потом «Es zittern die morschen Knochen», потом что-то своё, чего Ирма не знала, голос срывался, уходил в хрип, возвращался, и кто-то за другой стеной стучал кулаком — то ли в такт, то ли чтобы заткнулась, но Фолькенрат не затыкалась. Ирма не подпевала — она лежала, считая удары сердца: сто двадцать в минуту, сто двадцать два, сто восемнадцать, она пыталась успокоить это глупое, упрямое сердце, которое всё ещё хотело жить, хотя мозг уже знал, что жить не придётся; через час, через два, через три — какая разница? — она шагнёт в пустоту, и этот шаг будет последним, единственным, который она сделает по-настоящему свободно, потому что выбирать не придётся.

Она тронула свои волосы — длинные, светлые, мягкие, она всегда гордилась ими, в лагере, когда другие надзирательницы стриглись коротко, под форму, она оставляла длинные, закалывала их, убирала под фуражку, но вечером распускала и смотрела на себя в зеркало; красиво, даже сейчас, после трёх месяцев в камере, после этой еды, после этого воздуха, волосы всё ещё красивы. Она проводила по ним пальцами, раз за разом, как будто гладила кошку, как будто прощалась.

Возможно, это ничего не значит. Возможно, наоборот, значит всё. Когда человеку остаётся несколько минут, он иногда цепляется за самую бессмысленную вещь. Я не знаю.

Фолькенрат замолчала, и тишина стала громче, чем были песни — в этой тишине слышно было, как за стеной кто-то плачет, не Фолькенрат, кто-то другой, моложе, тише, плачет негромко, в подушку, чтобы не слышали, но в тишине слышно всё.

Ирма села на койке, поправила платье — тюремное, серое, грубое, колючее, оно натирало шею, подмышки, между ног, но она привыкла, за три месяца привыкаешь ко всему. Встала — ноги слушались, странно, она думала, что подкосятся, но нет, ноги держали её прямо, так же прямо, как держали всё то время, пока она ходила по лагерю, стуча каблуками по камню, и заключённые шарахались в стороны, боялись поднять глаза, боялись встретиться с

ней взглядом. Подошла к дверце, прижалась ухом к холодному металлу — тяжёлые, размеренные, неумолимые шаги палача, их нельзя было спутать ни с какими другими. Они приблизились, остановились за дверью, лязгнул замок, дверь открылась, и на пороге стоял офицер в британской форме, с красными нашивками и каменным лицом. Он смотрел на неё, как смотрят на вещь, которую предстоит утилизировать, без ненависти, без жалости, без всего.

— Irma Grese.

Не вопрос — констатация. Она кивнула и вышла в коридор — длинный, узкий, с низким потолком, с тусклыми жёлтыми лампочками, такими же, как в её детстве, когда отец экономил электричество и они сидели при керосиновой лампе; по обе стороны — двери, за ними — другие, она слышала их дыхание, слышала чьи-то всхлипы, слышала, как Фолькенрат — или уже не Фолькенрат, кто-то другой — бормочет что-то, но теперь это не вызов, не песня, а молитва, той ли, другой ли — уже неважно. Она не смотрела на двери, она смотрела прямо перед собой, на спину офицера, на его ровные плечи, на пилотку, сидящую идеально, как на параде.

В конце коридора была дверь — обычная деревянная, выкрашенная тёмно-коричневой краской, облупившейся по углам; за ней — камера для казни, она знала это не потому, что видела планы, а потому что чувствовала — там пустота, та самая секунда, которая должна оборвать всё. Офицер распахнул дверь, она вошла. Комната была небольшой, человек десять — офицеры, врач, священник? Она не разглядывала лица, она смотрела на центр пола, где на досках мелом была начерчена белая полоса. У полосы стоял палач — невысокий, плотный, с обычным лицом, лицом мясника или булочника, человека, который делает свою работу, он смотрел на неё без интереса, как на предыдущую, как на следующую.

Она подошла к отметке, встала точно на неё — ноги вместе, спина прямо; этому её научили не в СС, этому её научили в школе, когда одноклассники били её, пинали, обзывали дочерью шлюхи, она научилась стоять прямо, не показывать слабость, не давать им удовольствия видеть, как тебе больно. Палач подошёл сзади, она почувствовала его руки на своих запястьях — он связывал их, быстро, профессионально, без лишних движений, верёвка впивалась в кожу, но боли не было, всё тело уже онемело, ушло в тот спасительный транс, в который уходят солдаты перед боем, когда знают, что не вернуться. Потом — мешок, белая ткань пала на лицо, мир исчез, остался только запах — пыли, извёстки, и ещё чего-то, чего она не могла определить, может быть, страха — страх тоже пахнет. Она слышала своё дыхание, слишком громкое, слишком частое; слышала, как за стеной часы отсчитывают секунды; слышала, как Фолькенрат — или уже не Фолькенрат — всхлипнула в последний раз и замолчала навсегда.

Палач положил руку ей на плечо, поправил положение — она стояла идеально, она всегда стояла идеально, даже когда внутри всё кричало. «Schnell», — произнесла она тихо, почти шёпотом, но в наступившей тишине это слово прозвучало как удар хлыста — быстро, потому что ждать больше нельзя, потому что эта секунда перед падением хуже самого падения, потому что если она сейчас не шагнёт в пустоту, то закричит, разорвёт мешок, бросится на них, и они увидят, что она боится, что она такая же, как все, что она не та Ирма Грезе, которую они судили, проклинали, боялись — она не даст им этого удовольствия. Палач дёрнул рычаг, пол ушёл из-под ног, и падение длилось вечность и мгновение одновременно; в ушах свистел ветер, тот самый ветер, который она слышала в Освенциме, когда стояла на плацу и смотрела, как дым из труб поднимается к небу — серый, тяжёлый, неумолимый, она летела в этот дым, в ту пустоту, куда отправляла тысячи, и в последнюю долю секунды, когда верёвка уже натянулась, готовая оборвать жизнь, она думала не о матери, не об отце, не о том мальчике, который когда-то поцеловал её в сене, — она думала о том, что пахло сыростью и собственным телом, и о том, что она не хрустальная девочка, она — железная.

Хамельн, 13 декабря 1945 года, 10:03

Через двадцать минут тело сняли, положили в гроб — дубовый, дешёвый, сколоченный наспех, в таких же хоронили тех, кого она отправляла в газ; священник сказал несколько слов, врач подписал бумаги, палач ушёл пить чай, а она лежала в этом гробу — красивая, молодая, мёртвая, и никто уже не спросил, кем она была на самом деле. Снаружи шёл снег — мелкий, колючий, декабрьский, он падал на крышу тюрьмы, на пустой двор, на следы, ведущие к воротам, и город жил своей жизнью: лавочники открывали лавки, дети бежали в школу, женщины несли хлеб в авоськах, и никто не оборачивался на тюрьму, никто не смотрел, никто не помнил её имени — кроме тех, кто слышал этот голос.

А теперь остановись. Ты уверен, что понимаешь, что здесь произошло?

КНИГА ПЕРВАЯ. SCHNELL

1

Деревня Врехен лежала в Мекленбурге, среди низких холмов и полей, которые кормили скудно и требовали работы от зари до зари, от первого снега до последней зелени. Двадцать дворов, церковь с покосившейся колокольной, кузница, которая работала только по средам, и кладбище на пригорке, где хоронили всех — и стариков, и младенцев, и тех, кто не выдержал зимы. Дорога в деревню шла через поле, и зимой её заметало так, что неделями никто не мог ни войти, ни выйти; тогда в домах кончалась соль, и хлеб пекли без неё, и он был пресным, серым, тяжёлым, как земля, из которой его растили. Эта работа была такая же бесконечная и беспросветная, как сама жизнь, из которой никто не уезжал, потому что некуда было ехать и незачем. Ирма родилась 7 октября 1923 года, когда листья уже облетели, а первый снег ещё не выпал, и мир был серым, промозглым, каким-то незаконченным, как будто Бог создал его на скорую руку и забыл доделать; повитуха разорвала на ней поверхностную плёнку, и на голове и левом бедре остались шрамы — тонкие, белесые, похожие на трещины на старой посуде, и бабка, принимавшая роды, сказала, что это к несчастью, но кто в этой семье ждал счастья?

Отец, Альфред Грезе, хотел мальчика — работника, наследника, того, кто продолжит его дело, и когда узнал, что родилась девочка, не заходил к матери с ребёнком три дня; он был крестьянином, как его отец, как дед, и эта жизнь, привязанная к земле, к скоту, к смене времён года, не оставляла в нём места ни для нежности, ни для жалости, ни для той слабости, которую он называл «женской». Он работал с утра до ночи — доил коров, чинил заборы, таскал мешки с зерном, и пахло от него кислым молоком, сеном и потом, въевшимся в кожу так глубоко, что никакое мыло не могло его отмыть. Он не бил детей — по крайней мере, не чаще, чем другие, — но он почти не разговаривал с ними, и это молчание было тяжелее любого крика, потому что в нём не было ничего, кроме пустоты. Он никогда не бил её. Но однажды, когда ей было лет шесть, она уронила ведро с водой — тяжёлое, полное, оно опрокинулось на пол, и вода разлилась по всей кухне. Отец вошёл, посмотрел на лужу, на ведро, на неё — и ничего не сказал. Просто взял тряпку, вытер пол, вылил остатки воды в корыто и вышел. И это молчание было хуже любого удара. Потому что в нём не было ни гнева, ни раздражения. Только пустота. Как будто её не было. Как будто и лужи не было. Как будто ничего не было.

Мать, Берта Грезе, была женщиной тихой, незаметной, и Ирма, сколько себя помнила, видела её всегда уставшей: она носила воду из колодца, топила печь, стирала бельё в корыте, кормила кур, доила коз, и руки у неё были красные, потрескавшиеся, с вечно мокрыми рукавами, и пахло от неё щёлоком и капустным супом, который варили на всю неделю в одном и том же горшке. В доме было тесно — четверо детей за одним столом, двое в одной кровати, и никогда никакой тишины, потому что кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то просил есть, и если бы не эта вечная суета, можно было бы подумать, что они все здесь заперты навсегда, как скот в загоне. Окна были маленькие, свет пропускали плохо, и даже в полдень в комнатах царил полумрак, такой густой и липкий, что, казалось, его можно было потрогать рукой. Иногда, по вечерам, когда все уже спали, мать садилась у окна с шитьём и напевала что-то тихое, почти беззвучное — не песню даже, а так, дыхание, которое складывалось в мелодию. Ирма слышала это из своей кровати, сквозь сон, сквозь дрему, и этот звук был единственным тёплым, что она помнила из детства. Потом мать замолчала. Не сразу — постепенно. Сначала перестала петь по вечерам. Потом перестала садиться у окна. Потом перестала выходить из дома, если не было крайней нужды. И однажды не вышла вообще.

Ирма росла тихой, застенчивой, даже робкой — такой, какой её потом, через много лет, вспоминала младшая сестра Хелена, удивляясь, куда делась та девочка, которая в детстве избегала конфликтов и помогала нянчить младших, не дожидаясь просьбы. Она ходила в школу в чём придётся, в туфлях на толстой подошве, которые натирали ноги до мозолей, и зимой, когда в классах было так холодно, что замерзали чернила, она сидела, сжавшись в комок, и старалась не дышать, чтобы не тратить тепло. Училась она без особого рвения — не потому что была глупа, а потому что не видела смысла в том, чтобы знать имена всех немецких поэтов или решать задачи на проценты, когда всё равно предстояло работать в поле или на ферме, как работали её родители. Учитель — старый, с седыми усами, с запахом табака и мела — вызывал её к доске редко. Не потому что не любил. А потому что жалел. Она знала это. Знала по тому, как он отводил глаза, когда одноклассники шептались за её спиной. По тому, как он ставил ей тройку, хотя она не ответила ни на один вопрос. По тому, как однажды — в тот день, когда она пришла в школу с распухшей губой, — он не спросил, что случилось. Просто дал ей чистую тетрадь и сказал: «Пиши. Всё пройдёт». Она не поняла тогда, что он имел в виду. Поняла потом. Когда всё прошло. И ничего не осталось.

Единственное, что выделяло её среди других, — это волосы: длинные, светлые, мягкие, они были странной, почти необъяснимой красотой в мире, где всё было серым, бедным, залатанным на скорую руку. Она не умела укладывать, не могла заплетать косы, как другие девочки, потому что некому было научить, но она чувствовала, что это её, только её, и когда кто-то трогал их, она вздрагивала, как будто прикасались к чему-то запретному.

В 1936 году, когда Ирме было тринадцать, мать покончила с собой. Она выпила раствор соляной кислоты — наверное, это было единственное, что было под рукой, единственное, что могло так быстро и бесповоротно оборвать жизнь, которая стала невыносимой.

Ирма возвращалась из школы по той же дороге, что и всегда, мимо пастбища, где коровы уже стояли в стойлах, мимо старого дуба, под которым они играли в детстве, когда всё было ещё ничего, когда мать была жива и отец не носил коричневую рубаху. День был серый, промозглый, небо висело низко, и ветер гнал по земле сухие листья, которые шуршали под ногами. Она не торопилась — дома всё равно было нечего делать, только помогать по хозяйству, слушать, как мачеха ворчит, и смотреть на отца, который молчал, как всегда. Но когда она повернула за угол и увидела у их калитки соседку, которая стояла, прижимая руки к груди, и смотрела на дверь, она вдруг почувствовала, что что-то не так. Соседка обернулась, увидела её, открыла рот, но ничего не сказала — только махнула рукой, как будто прогоняла, и отвернулась. Ирма не спросила, что случилось. Она просто подошла к двери, толкнула её и вошла.

В доме пахло кислотой. Не той слабой, едва уловимой, которая иногда чувствовалась в подвале, когда отец травил крыс, — а едкой, удушливой, от которой сразу начинало щипать в носу и першить в горле. Ирма остановилась в прихожей, не снимая пальто, и увидела мать на кухне. Она лежала на полу, на боку, поджав колени к животу, и лицо её было таким, что Ирма не сразу поняла, что это она. Это лицо было чужим, искажённым, серым, мокрым, рот был открыт, и изо рта текла какая-то жидкость, смешанная с чем-то ещё, от чего тошнило. Глаза были открыты, но они не смотрели — они просто были, как у куклы, которую бросили на пол.

Ирма стояла в дверях и смотрела. Она не кричала. Не плакала. Не звала на помощь. Просто стояла, чувствуя, как запах кислоты заполняет лёгкие, как он смешивается с запахом чего-то другого, от чего кружится голова — может быть, крови, может быть, ещё чего-то, чего она не могла определить. Мать дышала — нет, не дышала, она хрипела, каждый вдох был как всхлип, как бульканье, и этот звук был страшнее тишины, потому что в нём было что-то безнадежное, то, что нельзя остановить. Ирма не знала, сколько времени прошло — может быть, секунда, может быть, минута, может быть, целая вечность, — но потом кто-то закричал: может быть, соседка, которая заглянула в дверь, может быть, она сама. Она не помнила.

Отец прибежал на крики, оттолкнул её, пытался поднять мать, что-то сделать, но было уже поздно, и он стоял над телом, молчаливый, как всегда, только на лбу выступила испарина, и руки дрожали, но он не плакал, не кричал, ничего не объяснял детям, которые сбились в кучу в углу и смотрели на него широко открытыми глазами. Потом приехала скорая, санитары унесли тело, и в доме стало тихо — так тихо, как бывает только после того, как кто-то, не выдержав, уходит навсегда. Ирма стояла в прихожей и смотрела на пустое место на кухне, где ещё не просохла лужица.

На похоронах отец стоял с каменным лицом и переминался с ноги на ногу, как будто ждал, когда всё это кончится и можно будет вернуться к своим делам. Этот жест — переминание с ноги на ногу, нетерпеливое, почти раздражённое — Ирма запомнила на всю жизнь лучше, чем лицо матери в гробу. Она стояла в чёрном платье, которое ей срочно ушили из старого, взрослого, и смотрела, как земля падает на крышку гроба — чёрная, холодная, беспощадная. Маленькая сестра плакала, уткнувшись в плечо соседки. Ирма не плакала. Она просто стояла и смотрела.

Через год отец вступил в НСДАП. Он принёс в дом портрет Гитлера, повесил его в гостиной, и стал ходить на собрания, а иногда возвращался пьяным и пел песни, которых Ирма раньше не слышала. Она смотрела, как он надевает коричневую рубашку, как люди на улице здороваются с ним первыми, как ему уступают дорогу. Даже учитель, который раньше смотрел на отца свысока, пожимал ему руку. Ирма молчала. Она просто смотрела.

В доме стало тесно после того, как мачеха переставила мебель. Это была не мебель даже — старая, доставшаяся от бабушки, с облупившимся лаком и продавленными сиденьями, но мачеха двигала её так, будто решала судьбы мира: стул сюда, комод туда, кровать Ирмы — к окну, чтобы, как она сказала, «больше воздуха», хотя воздуха не стало больше, просто теперь из окна было видно не сад, а соседский забор, и по утрам в комнату заглядывало солнце не с той стороны, и просыпаться было непривычно и тоскливо. Мачеха не была злой. Она была аккуратной — волосы собраны в пучок, фартук завязан идеальным бантом, руки всегда вымыты, ногти коротко острижены, и от неё пахло мылом и вареньем, которое она варила по воскресеньям, методично снимая пену и раскладывая ягоды ровными рядами. Эта аккуратность была страшнее злобы. Мачеха не пыталась заменить мать — она просто заняла место за плитой и за столом, и это место не обсуждалось.

В школе стало ещё тяжелее — одноклассники шептались за её спиной: «дочь самоубийцы», «мать шлюха», и однажды, когда самый наглый из них толкнул её в грязь, Ирма встала и ударила его в лицо — не рассчитанным ударом, а тем диким, звериным движением, в которое уходит всё, что копилось годами.

Она возвращалась из школы по той же дороге, что и всегда, но в этот раз они вышли из-за угла, когда она проходила мимо сарая, где воняло сеном и чем-то кислым; их было четверо, и она знала каждого — они учились в одном классе, сидели за соседними партами, иногда толкали её в коридоре, когда никто не видел, но никогда не заходили так далеко.

— Эй, Грезе.

Она не подняла головы, хотела пройти мимо, но он заступил дорогу и толкнул её в плечо — не сильно, так, чтобы проверить. Она отступила на шаг, ничего не сказала, не подняла глаз, и это, видно, разозлило его, потому что он толкнул снова, сильнее.

— Я с тобой разговариваю, дочь шлюхи.

Другие засмеялись, кто-то повторил «дочь шлюхи», кто-то добавил «мать самоубийца», и она стояла, глядя в землю, в грязь, в которой ещё не просохли лужи после вчерашнего дождя, и чувствовала, как эти слова входят в неё, как иголки, но она не показывала боли, потому что научилась не показывать. Но они не уходили — тот, который был самым наглым, ещё раз толкнул её, и она споткнулась, упала в грязь, в ту самую жижу, которая всегда стояла у сарая после дождя, и грязь была холодной, мокрой, она пропитала платье, пальто, попала в рот, в

глаза, и она лежала, чувствуя, как камни впиваются в колени, как вода заливается за воротник, и слышала их смех.

Она лежала и не двигалась, и вдруг что-то внутри перевернулось. Встала, не вытирая лица, не стряхивая грязь, подошла к тому, кто был самым наглым, и ударила его в лицо — раз, другой, третий. Мальчик закричал, закрыл лицо руками, из носа потекла кровь — яркая, алая на фоне серой грязи. Другие, которые только что смеялись, вдруг замолчали, отступили. Ирма стояла посреди этой грязи, тяжело дыша, сжимая кулак, на котором ещё не зажила ссадина, и смотрела на них. Она не плакала. Она не улыбалась. Она просто стояла и смотрела. И в их глазах она увидела то, чего не видела раньше. Страх. Не уважение, не раскаяние — страх. И это было лучше, чем любовь. Лучше, чем признание. Это было то, что можно потрогать. То, что не уйдёт.

Она повернулась и пошла домой. Кровь на костяшках высыхала, стягивая кожу. Она не вытирала её.

Через два года она бросила школу — в пятнадцать, как только закончила обязательные классы, — и вступила в Союз немецких девушек, БДМ.

В комнате, куда её привели, пахло крахмалом и новой тканью. Другие девушки — их было человек десять — стояли у стен, держа форму в руках, и смотрели на неё с любопытством. Она не знала никого из них, и они не знали её, и это было хорошо. Здесь никто не шептал «дочь самоубийцы» за спиной. Здесь никто не знал, что её мать выпила кислоту.

Она получила форму — серую юбку, бежевую рубашку, тёмно-синий галстук, пилотку. Всё пахло крахмалом и чистотой, как пахнет новое бельё, которое только что принесли из прачечной. Она пошла за ширму, разделась, повесила своё старое платье на крючок — то самое, в котором ходила в школу, которое было ей велико и которое она носила уже второй год, — и начала одеваться. Рубашка была жёсткой, накрахмаленной, она шуршала, когда Ирма застёгивала пуговицы; юбка была длинной, до колен, и в ней было легко двигаться; галстук она завязала не с первого раза, пришлось переделывать, и кто-то из девушек помог ей, молча, не задавая вопросов.

Она вышла из-за ширмы и встала перед зеркалом. Девушки, которые уже оделись, стояли рядом, поправляли друг другу воротнички, смеялись, что-то обсуждали — Ирма не слушала. Она смотрела на себя. Впервые в жизни она стояла прямо, не сутулясь, не опуская глаз. В зеркале отражалась девушка в форме — не та, которую она знала, не та, которую одноклассники называли «дочерью шлюхи», а другая, новая, чистая, прибранная. Она посмотрела на свои руки — они были грязными, с обкусанными ногтями, и она быстро спрятала их в карманы юбки, чтобы никто не видел. Но лицо — лицо было красивым. Она знала это. И в этой форме оно было ещё красивее.

Кто-то из старших, высокая девушка с косичками, подошла к ней.

— Ты новенькая? Тебя как зовут?

Ирма ответила, и та кивнула, улыбнулась — не насмешливо, как одноклассники, а приветливо, как будто они были старыми знакомыми.

«Ирма Грезе», — повторила она про себя, и это имя, произнесённое спокойно, без страха, без стыда, вдруг показалось ей правильным. Она стояла перед зеркалом, смотрела на себя и думала: вот оно. Вот место, где меня принимают. Где я не лишняя. Где я могу стоять прямо. Она посмотрела на себя в зеркало — и улыбнулась. Не широко, не вызывающе — уголками губ, одними глазами. Так она улыбалась потом в лагере, когда стояла на плацу и смотрела, как заключённые идут на работу. Так она улыбалась, когда спускала Кару на бегущую женщину. Так она улыбалась, когда в Люнебурге судьи зачитывали приговор. Она не знала тогда, что это — первая улыбка. И что за неё придётся заплатить. Всем.

2

Санаторий СС Хоэнлихен стоял на краю соснового бора, в получасе езды от Фюрстенберга, — длинное белое здание с колоннами у входа, широкими окнами и черепичной крышей, за которой начинался лес, тёмный, ровный, как стена. Воздух здесь пах хвоей и лекарствами, и этот запах был таким чистым, что у Ирмы кружилась голова, когда она выходила из поезда и впервые увидела это место. Она ехала из Лихена два часа — сначала поездом, битком набитым, с чужими локтями и чужим дыханием, потом пешком от станции, таща чемодан, старый, отцовский, перетянутый верёвкой, потому что замок сломался ещё в дороге. В поезде она стояла в тамбуре, потому что сидячих мест не было, и смотрела в окно, на поля, которые проплывали мимо, серые, пустые, ещё не засеянные. Она никогда не ездила так далеко. В Лихене она знала каждую улицу, каждый поворот, каждый забор; здесь же всё было чужим — деревья, дома, даже воздух, который пах не навозом и не дымом, а чем-то другим, сухим, смолистым, лесным. Она смотрела на этот воздух и не понимала, нравится ей это или нет. Просто смотрела. И держала чемодан обеими руками, чтобы никто не отнял. Чемодан был лёгким — бельё, расчёска, фотография матери, — но верёвка врезалась в ладонь, и к концу пути Ирма перекладывала его из руки в руку каждые пять минут. В бюро труда ей сказали: «Являться первого мая, к восьми утра». Она явилась в семь, стояла у ворот, смотрела, как из леса выползает туман, и ждала, когда кто-нибудь выйдет и скажет, куда идти.

Ей было семнадцать. Имперская служба труда закончилась, и она могла выбирать — вернуться в Лихен, снова в магазин, снова к хозяину с влажными ладонями, или попробовать что-то другое. Объявление о наборе помощниц медсестёр в санаторий СС она увидела на доске в бюро труда — крупные буквы, напечатанные на машинке, и внизу приписка: «Предпочтение отдаётся девушкам, готовым к тяжёлой работе». Она подала заявление на следующий день. Через неделю пришёл вызов — открытка с адресом и печатью: «Являться первого мая». Без собеседования, без анализов. Просто приезжай.

В полвосьмого калитка открылась, и на дорожку вышла женщина в белом халате — высокая, с острыми плечами, с лицом, которое не терпело возражений. Она посмотрела на Ирму, на её чемодан, на ботинки, облепленные утренней грязью, и сказала: «Опоздала бы — ушла бы обратно». Ирма не ответила. Женщина развернулась и пошла к зданию, Ирма — за ней, стараясь ступать так, чтобы ботинки не скрипели по гравию.

Внутри было прохладно и тихо. Полы из светлого камня, стены выкрашены в бледно-зелёный цвет, и нигде ни пятна, ни пылинки, ни того кислого запаха, который стоял в её доме во Врехене. Ирма переступила порог, и её ботинки громко закрипели по камню. Она остановилась, посмотрела на свои ноги, потом на пол. Женщина в белом халате обернулась, ничего не сказала, только поджала губы и пошла дальше.

Она провела Ирму по коридору — мимо высоких дверей из тёмного дерева, мимо столиков с вазами, где стояли живые цветы, мимо стендов с газетами, которых Ирма никогда не видела («Фёлькишер Беобахтер», «Чёрный корпус»), — и говорила быстро, отрывисто, не оборачиваясь: подъём в шесть, завтрак в шесть тридцать, уборка палат с семи до девяти, смена белья по понедельникам и четвергам, мытьё полов — ежедневно, вынос уток — по мере заполнения, обед в двенадцать, вечерняя смена с шестнадцати до двадцати, отбой в двадцать два. Ирма кивала, хотя женщина не видела её кивков. Она запоминала: шесть, шесть тридцать, семь, девять, двенадцать, шестнадцать, двадцать, двадцать два. Цифры ложились в голову ровными рядами, как бревна в штабеле.

В раздевалке было тесно — узкая комната с двумя скамьями, десятком крючков на стене и маленьким зеркалом в железной оправе. На скамьях лежала форма — белые платья, белые фартуки, белые чепцы. Женщина указала на один из крючков: «Твой». Ирма поставила чемо-

дан, развязала верёвку, достала свои вещи — три смены белья, расчёску, фотографию матери. Положила фотографию на дно чемодана, прикрыла бельём. Потом сняла своё старое платье — то самое, в котором ходила на ферму, в магазин, в БДМ, то самое, которое было ей велико и которое она носила уже третий год, — повесила его на крючок. Оно висело на стене бесформенное, серое, чужое среди белого. Она отвернулась, взяла белое платье. Ткань была плотной, накрахмаленной, шуршала, когда Ирма натягивала её через голову. Рукава до локтя, воротник глухой, пуговицы — мелкие, белые, их было много, и пальцы не слушались, путались. Застегнула не все, оставила две нижними — всё равно под фартуком не видно. Фартук завязала сзади, бантом, как учили в БДМ. Чепец — самое трудное: нужно было заколоть его булавками, чтобы не слетел, но булавки выскальзывали, кололись, и она поймала себя на мысли, что краснеет, хотя в раздевалке никого не было. Закончила, поправила, подошла к зеркалу.

В зеркале стояла девушка в белом — не та, которая была в грязи, не та, которая пахла навозом и молоком. Другая. Чистая. Прибранная. Почти красивая. Ирма посмотрела на свои руки — они были грязными, с обкусанными ногтями, с тонкими царапинами на костяшках, — и быстро спрятала их в карманы фартука. Потом вынула, одёрнула платье, поправила чепец и вышла в коридор.

В первую неделю она не запомнила ни одного лица. Больные лежали в палатах на высоких кроватях с блестящими спинками, и каждый из них носил форму СС — чёрную, с нашивками, которых Ирма не умела читать, с серебряными молниями на петлицах, с орлами и свастиками. Некоторые были молодыми, с перебинтованными руками или ногами, и смотрели на неё с ленивым любопытством, как смотрят на новую мебель. Другие — старыми, измождёнными, с жёлтыми лицами и запавшими глазами, и они не смотрели никуда, только в потолок или в стену, и дышали тяжело, с присвистом, и этот звук напоминал Ирме хрип матери, когда она лежала в луже кислоты.

Она мыла полы — на коленях, с ведром и тряпкой, выжимая её в холодной воде, которая быстро мутнела и пахла лекарствами. Ведро было тяжёлым, она переставляла его за собой через каждые два метра, и вода расплёскивалась, оставляла мокрые следы, которые нужно было вытирать тут же, потому что старшая медсестра говорила: «Пол должен блестеть, Грезе. Если я увижу пятно, будешь мыть ещё раз». Ирма мыла ещё раз. Иногда — три раза. Колени болели, под платьем набивались синяки, но она не жаловалась.

Она меняла простыни — поднимала тяжёлые, неподвижные тела, переворачивала их, подтыкала края. Старый штурмбаннфюрер из третьей палаты весил, наверное, центнер — сухой, костлявый, но тяжёлый, как мешок с песком. Ирма подводила руки под его спину, напрягала плечи, поднимала, он мычал — не от боли, от удивления, — и она чувствовала его дыхание, кислое, сладковатое, на своём лице. Потом подтыкала простыню, опускала, разглаживала складки. И так — десять раз за утро, пятьдесят раз за неделю.

Она выносила утки — закрывала лицо, чтобы не чувствовать запах, и бежала по коридору, стараясь не смотреть по сторонам, потому что если смотреть, то видишь, как другие надзирательницы — те, что постарше, в белых халатах с красными крестами на рукавах — стоят у столиков с газетами, пьют кофе, смеются. Они никогда не помогали. Им не нужно было.

Она приносила еду — подносы с бульоном, с кашей, с киселём. Поднос был большим, тяжёлым, на нём стояло шесть тарелок, шесть чашек, шесть ложек, и всё это дребезжало, когда Ирма шла по коридору, и она боялась, что уронит, разобьёт, и тогда старшая медсестра скажет: «Грезе, вычитаем из зарплаты». Она не роняла. Но руки дрожали.

Однажды — это было на второй неделе, она запомнила, потому что в тот день впервые не помыла полы с утра, а сразу пошла кормить — старый штурмбаннфюрер лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок и мычал громче обычного. Ирма села на край кровати, взяла ложку, зачерпнула бульон. Он не открывал рот. «Откройте рот», — сказала она. Он смотрел в потолок. «Откройте рот, господин штурмбаннфюрер». Он повернул голову, посмотрел на неё.

Глаза были мокрыми, белыми, с красными прожилками, и в них было что-то — не просьба, не приказ, не благодарность. Что-то, что Ирма не могла назвать. Он открыл рот. Она зачерпнула бульон, поднесла ложку. Бульон потёк по подбородку, по шее, на подушку. Она вытерла салфеткой. Зачерпнула снова. Опять потёк. Она кормила его двадцать минут — ложка, салфетка, ложка, салфетка, — и в конце он проглотил, может быть, три ложки, остальное оказалось на наволочке, на подушке, на одеяле. Она стояла у кровати, сжимая салфетку в кулаке. Потом положила её в лоток, взяла ведро и пошла мыть пол. В коридоре прислонилась к стене. Пол под ногами был чистым — она сама мыла его сегодня утром.

В комнате для персонала она спала на нижней койке — у окна, потому что старшие девушки занимали места подальше от света. В комнате жило шесть помощниц, все примерно одного возраста, но Ирма не сближалась ни с кем. Первую ночь она не спала. Лежала на спине, смотрела в потолок, слушала, как дышат соседки — шесть разных дыханий, шесть разных ритмов, и ни одного знакомого. Она не знала, чего боится. Может быть, того, что утром не найдёт дорогу в столовую. Может быть, того, что кто-то спросит про мать. Может быть, просто того, что всё это — не её. Она лежала и считала удары сердца — раз, два, три, до двадцати, до тридцати, до сорока. Потом сбилась. Не стала начинать сначала. Закрыла глаза. И только тогда, в темноте, за веками, что-то отпустило. Медленно. Как будто кто-то разжал пальцы. Она уснула. Без снов.

Она смотрела на них — как они смеются, как обмениваются лакомствами из дома, как шепчутся по вечерам перед сном. Одна из них, Эрна, была высокой, ширококостной, с толстыми косами и голосом, который перекрывал шум поезда. Она работала в санатории уже полгода и любила давать советы. «Ты, Грезе, руки мой каждый час. Не потому что грязные — потому что увидят. Здесь всё на виду». Ирма кивала. Руки она мыла. Не каждый час — когда успевала. Кожа трескалась, краснела, пальцы опухали от холодной воды, но она терпела. «И волосы убери под чепец, — продолжала Эрна. — Нечего тут распускать. Думаешь, не видно, как ты их поправляешь, когдаходишь в палату?» Ирма не поправляла. Или поправляла, но не замечала этого. Волосы выбивались из-под чепца всегда — тонкие, светлые, они лезли на лоб, на щёки, и она машинально заправляла их за уши. Она старалась делать это реже. Но руки тянулись сами. Эрна смеялась. Ирма не отвечала. Не спорила.

В третьей палате, кроме старого штурмбаннфюрера, лежал молодой гауптшарфюрер с перебитой ногой. Ему было, наверное, лет двадцать пять — тёмные волосы, тонкое лицо, руки длинные, красивые, с пальцами, которые играли на воображаемом рояле, когда он лежал без дела. Он попал в санаторий с осколочным ранением: нога была закована в гипс, и он передвигался на костылях, которые всегда стояли у его кровати — никелированные, с удобными ручками. Он заметил Ирму в первый же день. Она входила в палату с подносом, и он посмотрел на неё — не как на мебель, как смотрели другие. «Как тебя зовут?» — «Ирма». Она покраснела. Не могла это остановить — тепло поднималось от шеи к щекам, становилось влажно на ладонях, сердце билось глупо, громко. «Ирма, — повторил он, и улыбка у него была лёгкой. — Красивое имя». Она не знала, что ответить. Стояла с подносом, смотрела в пол, чувствовала, как краска заливает шею, ключицы, грудь. «Ты всегда такая красная, Ирма?» Она развернулась и вышла из палаты. Поднос дрожал в руках. Поставила его на стол в коридоре, прислонилась к стене, закрыла глаза и считала до десяти, до двадцати, до ста, пока тепло не отхлынуло. На следующий день она вошла в палату с утра — поменять бельё. Гауптшарфюрер лежал на спине, смотрел в потолок. «Привет, Ирма», — сказал он, не поворачивая головы. Она не ответила. Выдернула простыню, сложила, положила новую. Работала быстро, не глядя на него. «Ты обиделась?» Молчание. «Я пошутил. Ты красивая, когда краснеешь». Она подоткнула простыню, поправила подушку, взяла грязное бельё и вышла. На третий день он не поздоровался. На четвёртый — тоже. На пятый она вошла в палату, а он отвернулся к стене. Ирма поменяла бельё, поставила поднос с едой на тумбочку и вышла. В коридоре остановилась, посмотрела на свои

руки — они дрожали. Сжала их в кулаки и пошла дальше. Через неделю она перестала ждать, что он посмотрит на неё. Через две — перестала поправлять волосы перед тем, как войти в третью палату.

Шли недели. Ирма работала. Понедельник — смена белья: двадцать кроватей, двадцать комплектов, каждую нужно снять, унести в стирку, принести чистое, натянуть на матрац, подоткнуть углы, разгладить ладонью. Вторник — мытьё полов: третья палата, потом вторая, потом первая, потом коридор, потом сестринская, потом лестница. Среда — вынос уток: два раза утром, два раза днём, два раза вечером. Четверг — генеральная уборка: протереть подоконники, батареи, дверные ручки спиртом, чтобы блестели. Пятница — повтор понедельника. Суббота — повтор среды. Воскресенье — короткая смена до обеда, но Ирма оставалась до вечера, потому что некуда было идти. К концу первого месяца колени перестали болеть. К концу второго — пальцы перестали чувствовать холодную воду. К концу третьего — нос перестал замечать запах лекарств и чужой мочи. Она работала как машина: вставала в шесть, шла в палаты, брала ведро, тряпку, мыла, выжимала, переходила к следующей кровати. Руки двигались сами, ноги сами несли тело, глаза сами находили пятна на полу, которые нужно было оттереть. Она не думала. Не чувствовала. Просто делала.

Иногда по коридорам проходил человек в белом халате, без нашивок, без формы, с лицом, которое не запоминалось. Его называли «профессор». Он не смотрел на помощниц. Не здоровался. Проходил мимо, как будто их не было, и двери за ним закрывались сами — тяжёлые, обитые кожей, с медными ручками. Ирма однажды мыла пол у этих дверей. Изнутри не доносилось ни голоса, ни шагов. Только запах — не лекарства, не хлорка, а что-то другое, тяжёлое, сладковатое, как будто там, за дверью, что-то долго варилось. Она выжала тряпку и пошла дальше. Она не спрашивала, кто это. В санатории не спрашивали. Но иногда — очень редко — она замечала, что после того, как он проходил, оставался запах. Не хлорки, не мыла, не лекарств. Что-то другое. Тяжёлое, сладковатое, как будто что-то долго варилось в закрытой комнате. Она не знала, откуда этот запах. Может быть, из-под его двери. Может быть, из его халата. Может быть, из него самого. Она не спрашивала. Просто выжимала тряпку и шла дальше. Но помнила. Долго помнила. Даже в Освенциме. Даже когда стояла на рампе. Этот запах. Тяжёлый. Сладковатый. Как будто что-то варилось.

Однажды — это было в четверг, день генеральной уборки — в третьей палате освободилась кровать. Старого штурмбаннфюрера перевели куда-то — может быть, в другой корпус, может быть, в другую больницу, может быть, он умер, Ирма не спросила. Кровать стояла пустая, простыни сняли, матрац обнажился — серый, в жёлтых пятнах, с проступившей наружу ватой. Ирма должна была вытереть спиртом металлические спинки, протереть подоконник, помыть пол. Она мыла пол. На коленях, с тряпкой, как всегда. Ведро стояло рядом, вода была тёплой — сегодня дали тёплую, потому что четверг. Она выжала тряпку, провела по полу восьмёркой, от стены к стене. Пол был чистым, но она всё равно вела тряпку — туда, обратно, туда, обратно. И вдруг поняла, что не помнит, как выглядел старый штурмбаннфюрер. Не помнит лица — ни глаз, ни рта, ни морщин. Только тяжесть его тела, когда переворачивала, и кислый запах изо рта, и мычание, когда он хотел есть. Лица не было. Как будто его и не существовало. Она выжала тряпку, повесила её на край ведра, встала. Колени не болели.

В коридоре она встретила Эрну. «Ты, Грезе, железная, — Эрна стояла у столика с газетами, пила кофе из белой кружки. — Никто столько не вывозит. Я бы на твоём месте уже месяц как сбежала». Ирма посмотрела на неё. Эрна улыбалась — не насмешливо, скорее уважительно. Ирма не знала, что ответить. Кивнула, прошла мимо, зашла в сестринскую, открыла кран, начала мыть руки. Вода была холодной — тёплая кончилась. Она терла ладони, пальцы, запястья, смотрела на свои руки, на потрескавшуюся кожу, на красные костяшки. Руки были чужими. Не её. Как будто она смотрела на руки кого-то другого — кто работает, моет, выжи-

мает, не жалуется, не плачет, не просит. Закрывает кран, вытерла руки о полотенце, поправила чепец и пошла в первую палату — менять бельё.

Через год она подала заявление на обучение медсестре. Бланк был длинным, официальным, со штампом СС, с графами, которые нужно было заполнять печатными буквами. Она сидела в комнате для персонала, держала в руке карандаш и вписывала свои данные: фамилия, имя, дата рождения, место рождения, образование, опыт работы. Буквы получались кривыми — стол был шатким, и рука дрожала. Она старалась. Выводила каждую линию, как учили в школе, когда было тепло и чернила не замерзали. Потом были анализы — кровь из пальца, кровь из вены, моча, кал, проверка у терапевта, у стоматолога, у дерматолога. Ирма ходила по кабинетам, разделась до пояса, поворачивалась, кашляла, открывала рот, высовывала язык. Терапевт поставил печать: «Здорова. Годна к обучению». Дальше было ожидание. День, два, неделя, месяц. Ирма продолжала работать — мыла, чистила, кормила, выносила, — но теперь каждое утро она заглядывала в сестринскую, на стол, где лежала входящая корреспонденция. Ничего. Или письма для других — старших медсестёр, врачей, хозяйственников. Для неё — ничего. Она не спрашивала. Боялась, что спросить — значит показать слабость, показать, что она ждёт, что она нуждается, что она не может сама.

Через месяц в сестринской появился конверт. Белый, с официальным штампом, с её фамилией, напечатанной на машинке: «Grese». Ирма взяла его в руки. Конверт был лёгким — внутри, наверное, один лист бумаги. Не вскрыла сразу. Постояла, подержала, повертела. Потом вышла в коридор, села на скамейку у окна и только тогда разорвала край. «Уважаемая фройляйн Грезе! Рассмотрев Ваше заявление о приёме на курсы медицинских сестёр при санатории СС Хоэнлихен, комиссия постановила отказать Вам ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам. Причины: недостаточный уровень базового образования, отсутствие рекомендаций, сомнительное семейное происхождение». Она читала письмо три раза. Первый раз — не поняла. Второй — поняла, но не поверила. Третий — поверила, но не могла остановиться. «Сомнительное семейное происхождение». Смотрела на эти слова, и они не расплывались — она не плакала. Глаза были сухими, горло не сжималось. Только внутри, где-то под рёбрами, что-то оборвалось — не громко, не с треском, а тихо, как обрывается нитка, когда тянешь слишком сильно. Мать-самоубийца. Это нельзя было изменить. Никогда. Какую бы форму она ни носила, как бы ни старалась, как бы ни вылизывала полы и ни вытирала чужие слюны, она оставалась дочерью женщины, которая выпила кислоту.

Она сложила письмо, положила в карман, встала со скамейки и пошла по коридору. Мимо палат, где лежали больные в чёрной форме. Мимо столовой, где другие надзирательницы пили кофе и смеялись. Мимо белых стен и светлых полов, которые она мыла каждый день. Шла медленно, не глядя по сторонам, и ботинки не скрипели — она научилась ступать бесшумно. Вышла на улицу, села на скамейку под сосной. Руки лежали на коленях, ладонями вверх. В одной руке — смятое письмо. Ветер шевелил волосы, выбившиеся из-под чепца. Она не поправляла их. Сидела час. Другой. Смотрела на лес, который стоял тёмной стеной, и не думала — просто сидела и смотрела. Мысли не приходили. Была только пустота, и в этой пустоте — слова, которые не уходили: «сомнительное семейное происхождение».

Потом встала, поправила чепец, заколола волосы булавками — теперь крепко, чтобы не выбивались, — и пошла обратно в санаторий. Доработала до конца смены. Вымыла полы в третьей палате. Поменяла бельё на пустой кровати — той, где раньше лежал старый штурмбаннфюрер. Постирала тряпки, сложила ведро в подсобку, переоделась. Белую форму повесила на крючок — туда, где висело её старое серое платье. Серого платья уже не было. Кто-то убрал его, выбросил, отдал — она не знала. Надела свою одежду, ту, в которой приехала, взяла чемодан, перетянула верёвкой и вышла через главный вход, не оглядываясь.

Через полгода она подала снова. Новый бланк, новые анализы, новая печать «годна», новое ожидание. И новый отказ — на этот раз без объяснения причин. Просто: «комиссия

постановила отказать». Она прочитала, сложила письмо, положила в карман и пошла работать. Вечером, лёжа на койке, смотрела в потолок и думала, что дело не в образовании. Образование можно подтянуть. Дело в матери. В том, что она — дочь самоубийцы, и это не исправляется.

Ещё через полгода она не подала. Просто стояла у доски с объявлениями в коридоре бюро труда — той самой, где когда-то увидела объявление о наборе в санаторий, — и читала. «Требуется работницы на молочный завод, Фюрстенберг». «Требуется работницы на фабрику, Лихен». «Требуется». Она стояла долго, смотрела на буквы, выведенные на машинке, и не подавала. Потому что знала: откажут. Всегда будут отказывать. Потому что мать выпила кислоту, и это — навсегда.

Она вернулась в санаторий, доработала смену, вымыла полы, вынесла утки, поменяла бельё. Вечером собрала вещи — бельё, расчёску, фотографию матери. Сложила в чемодан, перетянула верёвкой. Белую форму повесила на крючок. Вышла через главный вход, не оглядываясь. На станции купила билет до Фюрстенберга. В объявлении было сказано: «требуется работницы на молочный завод». Она не знала, что это за завод. Она не знала, что через два месяца оттуда будет рукой подать до Равенсбрюка. Она просто купила билет. И поехала. Не зная, что там — молочный завод. Не зная, что там — пустая комната. Не зная, что через два месяца — Равенсбрюк. Просто — билет. Просто — поехала. Как всегда. Без выбора. Без вопроса. Потому что так надо. Потому что иначе — никак. Она села у окна. Поезд тронулся. За стеклом проплыли поля, серые, пустые, ещё не засеянные. Она смотрела на них и не думала. Просто смотрела. И держала чемодан обеими руками, чтобы никто не отнял.

3

В Фюрстенберг она вернулась летом 1942 года — не в Лихен, не было смысла. Вдова, у которой она снимала комнату до санатория, сдала её кому-то другому, пришлось искать новую. Она нашла на окраине, в старом доме с облупившейся краской и скрипучей лестницей. Комната была меньше прежней: узкая, с одним окном, выходящим на кирпичную стену соседнего здания, и низким потолком, на котором желтело водяное пятно в углу. Кровать стояла у стены, тумбочка — у кровати, на тумбочке — кружка с водой и фотография матери. Края фотографии потрескались за время, что она лежала на дне чемодана, и Ирма прижала их скотчем, который купила в табачной лавке за несколько пфеннигов. Скотч был дешёвым, жёлтым, и на сгибах пузырился, но держал. Вдова, сдававшая комнату, жила на первом этаже и почти не поднималась вверх. Иногда только кричала снизу: «Грезе, ты дома?» — и, не дождавшись ответа, замолкала. Ирма не отвечала. Не потому что не хотела. Просто не знала, что говорить. Она никогда не жила одна. В детстве — четверо детей в одной комнате. В БДМ — десять девушек в общей спальне. В санатории — шесть помощниц. А теперь — она. И тишина. И кирпичная стена за окном. И жёлтое пятно на потолке, похожее на карту. Она лежала и смотрела на это пятно. И постепенно привыкла.

Денег оставалось на два месяца, если не покупать ничего, кроме хлеба и чая. Она сидела на кровати, смотрела в стену и считала: сорок марок на комнату, двадцать на еду, десять на мыло и пластырь. Оставалось пятьдесят. Хватит до осени, если не болеть, не покупать новую обувь и не ездить никуда. Она не болела. Обувь была старая, но держалась. Ездить было некуда.

На следующий день она пошла в бюро труда. Очередь была длинной — человек тридцать, в основном женщины, в потрёпанных пальто и стоптанных ботинках, с лицами, на которых ничего не было написано, кроме усталости. Ирма встала в конец, потом за ней кто-то ещё, потом ещё. Пахло дешёвым табаком, потом и мокрой шерстью. Чиновница за окошком была маленькой, с острым носом и тонкими губами, и смотрела на каждого пришедшего так, будто видела его в первый и последний раз.

— Фамилия?

— Грезе.

— Имя?

— Ирма.

— Год рождения?

— Двадцать третий.

— Образование?

— Восемь классов.

— Опыт работы?

— Помощница медсестры в санатории СС.

Чиновница подняла глаза, посмотрела на неё чуть дольше, чем на предыдущих.

— Молочный завод. Смены по двенадцать часов. Сто двадцать марок в месяц. Направление получите в том окне.

Ирма взяла бумагу, сложила, положила в карман и вышла. На улице остановилась, посмотрела на серое небо. Шёл мелкий дождь, тот самый, который идёт не переставая часами и промокает насквозь, даже если стоять под козырьком. Она натянула пальто на голову — у него был капюшон, оторванный наполовину, но остатки ещё закрывали макушку, — и пошла на завод. Дорога заняла полчаса: сначала по мостовой, потом через железнодорожный переезд, потом мимо пустыря, заросшего лебедой, потом вдоль забора, за которым лаяли собаки. Завод стоял на окраине, за железнодорожной линией, и был похож на сарай — длинное, низкое здание из некрашеного кирпича, с узкими окнами, запотевшими изнутри, и ржавой крышей, на

которой всегда сидели голуби. Запах начинался за сто метров — кислый, сладковатый, приторный, он смешивался с дымом из трубы и паром из вентиляционных отверстий, и к тому моменту, когда Ирма подошла к проходной, он уже въелся в пальто, в волосы, в кожу, и не выветривался до самого вечера.

В цехе розлива работали женщины — человек пятьдесят, все в серых халатах и резиновых фартуках, в высоких сапогах, которые доставали до колен. Ирме выдали такой же халат — огромный, болтающийся на плечах, с оторванной пуговицей, которую она потом пришила сама, — и резиновый фартук, пахнувший чем-то химическим, и сапоги, которые жали в подъёме. Мастер цеха, женщина с жёлтыми зубами и голосом, который перекрывал шум конвейера, показала, что нужно делать.

— Берёшь бутылку. Ставишь на ленту. Берёшь следующую. Ставишь. Поняла?

Ирма кивнула.

— Работа.

Она взяла первую бутылку. Бутылка была литровой, тяжёлой, мокрой, с каплями, которые стекали на руки. Поставила на ленту. Бутылка покачнулась, но устояла. Взяла вторую — тоже поставила. Третью — поставила. На четвёртой пальцы скользнули по мокрому стеклу, бутылка выпала, ударилась об пол и разлетелась на крупные осколки. Молоко растеклось по бетону белой лужей, быстро, как будто его кто-то вылил из ведра. Женщины рядом оглянулись, посмотрели, но никто ничего не сказал. Только мастер подошла, взяла веник и совок, молча смела осколки, вытерла пол тряпкой и ушла. Ирма стояла, смотрела на мокрое пятно на бетоне, на котором уже собирались мухи, и ждала, что ей скажут. Ей ничего не сказали. Она взяла следующую бутылку.

К концу первой смены она поставила на ленту шестьсот бутылок. Не считая той, что разбила.

Вечером, когда она мыла руки в умывальнике, под ногтем остался осколок. Тонкий, прозрачный, как рыба кость. Она вытащила его иголкой и выбросила в ведро.

В обеденный перерыв женщины собирались в раздевалке — тесной комнате с двумя скамьями, железным шкафом для одежды и плакатом на стене: «Чистота — залог здоровья». Плакат был старым, выцветшим, углы отклеились и висели на скотче — таком же жёлтом, как тот, которым Ирма заклеила фотографию матери. Женщины сидели на скамьях, ели принесённые из дома бутерброды, пили чай из жестяных кружек, обсуждали мужей, детей, цены в магазинах. Ирма села в углу, на табуретку, которая стояла у шкафа, достала из кармана хлеб — чёрствый, ломкий, купленный вчера, — и кружку, в которую налила кипятку из бачка в коридоре. Хлеб нужно было размачивать в чае, чтобы не сломать зубы. Она размачивала, ела, смотрела в стену.

Женщина в очках, с седыми прядями, выбивавшимися из-под косынки, сидела ближе всех, на той же скамье, и жевала бутерброд с колбасой.

— Новенькая?

— Ирма.

— Откуда?

— Из Врехена.

Женщина ждала. Ирма смотрела в стену. Женщина пожала плечами, отвернулась и заговорила с другой. Ирма осталась одна.

В конце первой недели её пальцы покрылись трещинами. От воды, от молока, от мыла, которым она мыла их после смены. Трещины были глубокими, красными, шли от ногтей к суставам, и когда она сжимала бутылку, они расходились в стороны, и из них выступала кровь, не сильно, по капле, но достаточно, чтобы оставлять розовые следы на мокром стекле. Она не замечала этого сначала — смотрела на бутылку, ставила на ленту, брала следующую, — но потом кто-то из женщин сказал: «У тебя руки в крови». Она посмотрела на свои ладони и увидела: да, в крови. Пошла в умывальник, смыла, вернулась. Через час кровь выступила снова.

В аптеку она зашла в субботу, после смены. Аптекарь был старым, лысым, с бородавкой на щеке.

— Мне пластырь. Большую катушку.

Аптекарь посмотрел на неё поверх очков.

— Какую именно? Есть разный. Для ран, для мозолей, бактерицидный.

— Обычный. Самый дешёвый.

Он достал с полки белую катушку, поставил на прилавок. Ирма протянула деньги. Он взял, дал сдачу, потом посмотрел на её руки — грязные, красные, с трещинами, которые не заживали, — и покачал головой, но ничего не сказал.

— Ты на заводе, что ли? — спросил он.

— Да.

— Долго?

— Месяц.

Он посмотрел на её руки ещё раз. Потом на её лицо. Потом сказал — тихо, почти равнодушно:

— Пластырь не поможет. Тебе нужны перчатки.

— У меня нет перчаток.

— Тогда терпи. Или уходи.

Она забрала катушку и вышла.

Дома она села на кровать, оторвала кусок пластыря, обмотала указательный палец. Потом средний. Потом безымянный. Потом мизинец. На левой руке — то же самое. Пластырь был жёстким, пальцы в нём не сгибались, и работать будет труднее, но терпеть можно. Она научилась терпеть. Пластырь стал частью её рук — она не снимала его даже дома, даже ночью, потому что без него пальцы болели так, что она не могла заснуть. Она спала с пластырем, ела с пластырем, мылась с пластырем. Через неделю он пожелтел, начал отклеиваться по краям, и она отрывала старые куски и наклеивала новые, поверх, слоями, так что вскоре пальцы были похожи на коконы — толстые, белые, неподвижные, и только кончики торчали наружу, красные, с обломанными ногтями.

Иногда — раз в две-три недели — она меняла смену и работала ночью. Тогда завод казался другим: лампы горели тускло, тени от труб и баков падали на пол длинными полосами, и голоса женщин звучали глуше, как будто из-под воды. Конвейер жужжал так же монотонно, бутылки двигались по ленте так же ровно, и запах молока был таким же, но что-то менялось — может быть, в воздухе, может быть, в ней самой. Она стояла у конвейера, брала бутылки, ставила на ленту, брала следующую, и иногда ей казалось, что она сама — бутылка, которую ставят, заполняют, закупоривают, отправляют дальше, а потом другая, такая же, и другая, и нет разницы между первой и сотой, и никто не заметит, если она исчезнет. Она стояла у конвейера и работала.

В воскресенье — единственный выходной, который она проводила в комнате, сидя у окна и глядя на кирпичную стену, — она достала фотографию матери. Долго смотрела на неё, водила пальцем по стеклу, по краям, по тем местам, где скотч держал потрескавшуюся бумагу. Мать на фотографии была молодой — Ирма знала, что та снялась до свадьбы, потому что на обратной стороне было написано карандашом: «Берта, 1921». Она улыбалась, но улыбка была странной — как будто она знала что-то, чего не знал никто. Как будто уже тогда решила, что однажды выпьет кислоту. Ирма смотрела на эту улыбку и не понимала. Не понимала, как можно улыбаться, если знаешь, что кончишь собой. Не понимала, как можно оставить детей. Не понимала, как можно выпить кислоту, если у тебя есть волосы — длинные, светлые, мягкие, такие же, как у неё самой. Она смотрела на мать и не узнавала себя. Или узнавала — и тогда не знала, что с этим делать. Она положила фотографию на тумбочку, легла на кровать и пролежала

до вечера, глядя в потолок, на жёлтое водяное пятно в углу. Пятно было похоже на карту — может быть, на Вислу, может быть, на что-то другое. Она смотрела и не думала. Просто лежала.

Дни на заводе складывались в недели. Понедельник — розлив. Вторник — розлив. Среда — розлив. И так до воскресенья, воскресенье — выходной, если повезёт. Иногда не везло, и она работала в воскресенье, потому что кто-то заболел или не вышел, и мастер цеха спрашивала: «Грезе, ты выйдешь?» Ирма выходила. Ей было всё равно. Ей было всё равно, какой день, какая смена, сколько бутылок. Она брала бутылку, ставила на ленту, брала следующую. Руки двигались сами, ноги сами держали тело, глаза сами находили бутылки в потоке. Она думала о прошлом — о матери, о кислоте, о школе, о том мальчике, который закричал, когда она ударила его в лицо. Или о будущем — о том, что будет, когда она уйдёт с завода, когда у неё будут другие руки, другое платье, другая жизнь. Но чаще она не думала ни о чём. Просто стояла у конвейера и работала.

Однажды — она не помнила когда, потому что дни слились в один длинный, серый, без начала и конца — она поймала себя на том, что не помнит, какой сегодня день. Не понедельник, не среда, не воскресенье — просто день. Остановилась, посмотрела на календарь, который висел в раздевалке: на нём была картинка — Альпы, снег, синее небо — и цифры, перечёркнутые красным. Сегодня было пятнадцатое. Какого месяца — она не знала. Она посмотрела на свои руки в пластыре, на халат, на сапоги, на конвейер, который жужжал, как всегда. Потом взяла бутылку и поставила на ленту.

В конце июня 1942 года было душно. Даже ночью жара не спадала, и в комнате у вдовы окно было открыто настежь, и в него влетали мотыльки, кружились вокруг лампы и сгорали, падая на подоконник чёрными точками. Ирма сидела на кровати, смотрела, как один за другим они летят на свет. На следующий день смена закончилась в восемь вечера, фонари горели, и где-то вдалеке играла музыка, и кто-то смеялся, и жизнь шла своим чередом.

Она пошла домой своей обычной дорогой — мимо заводской проходной, мимо пустыря с лебедой, мимо железнодорожного переезда, мимо столба, на котором висели объявления. Обычно она не смотрела на них — там писали про собрания, про карточки, про помощь фронту, — но в этот раз она остановилась. Объявление было новым: приклеено криво, оторвано по одному краю, и крупные буквы, напечатанные на машинке, бросались в глаза даже издалека.

«Концентрационные лагеря. Требуются надзирательницы. Зарплата — 185 марок в месяц. Форма, жильё, питание предоставляются. Возраст от 18 до 35 лет. Обращаться по адресу...»

Она прочитала один раз. Потом второй. Потом третий. 185 марок. На шестьдесят пять больше, чем на заводе. Форма. Жильё. Питание. Она посмотрела на свои руки — грязные, в пластыре, с трещинами, которые не заживали. Посмотрела на своё платье — старое, застиранное, которое она носила уже три года. Посмотрела на улицу, на людей, которые проходили мимо и не замечали её, потому что она была никем, пустым местом, лишним ртом за чужим столом. Мотыльки бились о фонарь над головой, падали на землю, бились снова. Она стояла и смотрела на объявление, и внутри что-то сдвигалось — не громко, не с треском, а тихо, как сдвигается лёд на реке весной, когда ещё не видно трещин, но вода уже пошла. Она подумала: если я уеду отсюда, никто не заметит. Ни вдова, ни мастер, ни женщины в цехе. Никто.

Повернулась и пошла домой. Не торопясь. Не оглядываясь.

На следующий день она уволилась с завода. Хозяин — толстый, с красным лицом — владел и молочным заводом, и половиной лавок в округе. Она видела его раньше — в Лихене, в магазине, где работала; он заходил, проверял выручку, щипал продавщиц. Сейчас он сидел за столом, жевал бутерброд с колбасой и смотрел на неё сонными глазами.

— Увольняешься?

— Да.

— Куда пойдёшь?

— В концентрационные лагеря, — сказала Ирма.

Он хмыкнул, откусил ещё кусок, пожевал.

— А что, там хорошо платят? — спросил он, не поднимая глаз от бутерброда.

— Сто восемьдесят пять.

Он присвистнул. Потом посмотрел на неё — впервые за весь разговор посмотрел, — и в его сонных глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. Или на зависть. Или на страх. Она не поняла.

— Сто восемьдесят пять, — повторил он. — Ну, Грезе, смотри. Начальство там строгое. Чуть что — выгонят. Или хуже.

— Я знаю.

— Знает она.

Он засмеялся, но как-то невесело. И махнул рукой — иди, мол. Она пошла. Она не ответила. Взяла расчёт — несколько купюр, которые она пересчитала, не глядя, — вышла из кабинета, прошла через цех, где женщины в серых халатах ставили бутылки на ленту, и никто не посмотрел на неё, потому что все смотрели на бутылки. У проходной она остановилась, оглянулась на здание — длинное, низкое, кирпичное, с ржавой крышей и запотевшими окнами, — и пошла дальше.

Дома она села на кровать, достала из ящика лист бумаги и карандаш — тот самый, ломаный, которым писала заявление в санаторий. Карандаш сломался, когда она начала писать «прошу». Она починила его ножом — срезала дерево, оголила грифель, — и продолжила. «Прошу принять меня на работу надзирательницей в концентрационный лагерь». Имя, фамилия, дата рождения, адрес. Буквы получались кривыми — стол был шатким, и рука дрожала, — но разобрать можно было. Она сложила лист, запечатала в конверт, который купила в табачной лавке, и пошла на почту. Конверт был серым, дешёвым, клей на язычке не держался, и она прижала его пальцем, подержала, подождала, пока прихватится. Опустила в ящик — железный, зелёный, с щелью, которая лязгнула, когда конверт упал внутрь.

Потом были дни ожидания. Она сидела в комнате, смотрела в окно, слушала радио внизу — голос фюрера, марши, обещания. Вдова включала его каждый вечер, и Ирма слушала — не отключаясь, не затыкая уши, а вбирая каждое слово, как губка вбирает воду. Ей казалось, что эти слова — про неё. Про то, что есть место, где тебя примут. Если ты сильная. Если готова работать. Если не боишься.

Она ходила к почтовому ящику каждый день. Утром, перед тем как выйти за хлебом. Днём, после обеда. Вечером, перед сном. Ящик был пуст. Или в нём лежали газеты для вдовы, но Ирма не брала их — они были чужими. Через неделю она перестала ходить каждый день. Через две — перестала вообще. На третьей неделе, когда она уже не ждала, вдова крикнула снизу: «Грезе, тебе письмо!» Ирма спустилась, взяла конверт — белый, с официальным штампом, с её фамилией, напечатанной на машинке, — поднялась к себе, села на кровать и положила конверт на тумбочку. Не вскрыла сразу. Посидела, посмотрела на него. Потом встала, подошла к окну, посмотрела на кирпичную стену. Потом села обратно и взяла конверт в руки.

Она вскрыла его медленно, пальцем поддела край, разорвала бумагу. Внутри был лист — такой же белый, с печатью, с подписью. «Принята. Явиться в Равенсбрюк 1 августа 1942 года». Она смотрела на эти слова, и они не расплывались — она не плакала. Глаза были сухими, горло не сжималось. Только руки дрожали — не от страха, не от радости, а от чего-то другого, чего она не могла назвать.

Сложила письмо, положила в карман, подошла к окну. За окном было темно — уже поздний вечер, фонари горели, и на небе загорались первые звёзды. Холодные, равнодушные. Она смотрела на них, и они смотрели на неё. Ветер дул в открытое окно, трепал волосы — длинные, светлые, мягкие, те самые, которые она не стригла, не прятала, не отдавала никому. Она посто-

яла так несколько минут, потом закрыла окно, задернула штору, легла на кровать и выключила свет.

Спать не хотелось. Она лежала в темноте, слушала, как вдова внизу переключает радио — сначала голос фюрера, потом музыка, потом голос диктора с новостями, — и смотрела в потолок, на жёлтое пятно, которое в темноте было почти не видно.

4

Равенсбрюк, август 1942 года

Поезд пришёл утром, в половине восьмого. Ирма ехала из Фюрстенберга — сначала через лес, потом мимо полей, потом вдоль заборов, за которыми начиналось что-то другое, не похожее на город и не похожее на деревню. Вагон был старым, с деревянными скамьями и окнами, которые не открывались. Душно. Пахло потом и углём. В вагоне сидели ещё несколько девушек — никто не разговаривал. Ирма смотрела в окно, на мелькающие столбы, на провода, которые то поднимались, то опускались. Чемодан стоял у ног — старый, перетянутый верёвкой, лёгкий, но верёвка уже врезалась в ладонь, когда она тащила его по платформе. На станции Равенсбрюк вышли все вместе. Платформа была маленькой, бетонной, с железным навесом, под которым стояла скамейка. Никого. Только будка стрелочника с закрытой дверью и дорога, уходящая в лес — грунтовая, пыльная, с колеями от грузовиков. Девушки постояли, посмотрели друг на друга. Одна — высокая, с короткой стрижкой и громким голосом — сказала:

— Ну, бывайте.

И пошла вперёд, не оглядываясь. Её звали Грета. Ирма узнает это позже. Она шла быстро, размашисто, как будто торопилась куда-то, где её ждали. Ирма смотрела ей вслед — на прямую спину, на короткие тёмные волосы, на широкий шаг. Она не знала, почему смотрит. Просто смотрела. Потом женщина исчезла за поворотом дороги, и Ирма осталась одна. Остальные разошлись. Ирма осталась одна. Подняла чемодан, перекинула через плечо — верёвка впиалась в ключицу, — и пошла по дороге.

Лес был сосновым, сухим. Пахло смолой и нагретой хвоей. Тишина — только ветер в кронах и её шаги по пыли. Ирма шла и смотрела под ноги, на свои ботинки, которые уже покрылись серой пылью. Дорога шла прямо, без поворотов, и лес постепенно стал редеть, деревья расступаться, и небо стало шире, и вдруг — она не сразу поняла, что видит, потому что такого она никогда не видела — в конце дороги, на открытом месте, за колючей проволокой, поднялись вышки. Деревянные, высокие, с крышами, на которых стояли часовые с винтовками. Проволока тянулась вдоль всей дороги, сколько хватало глаз, — серая, с металлическими кольцами, накрученными спиралью. За проволокой — бараки. Длинные, низкие, серые, с маленькими окнами. Между бараками — пустая земля, утрамбованная, без травы. И тишина. Ирма остановилась. Посмотрела на вышки, на проволоку, на бараки. Ветра здесь не было. И птиц не было. Она это заметила не сразу, потом — да, птиц нет. Ни одной. Постояла минуту, другую, потом подняла чемодан и пошла дальше.

Ворота были открыты. На входе стоял часовой — молодой, скужающий, с автоматом на плече. Он посмотрел на Ирму, на её чемодан, на её одежду — старое пальто, стоптанные ботинки.

— Документы.

Ирма достала из кармана предписание — сложенный вчетверо лист, который она носила с собой уже две недели. Он успел выцвести на солнце и истрепаться по краям. Часовой взял, прочитал, вернул.

— Проходи.

Вошла. За воротами — бетонная дорожка, чистая, подметённая. Слева — казармы для персонала: два длинных здания из серого кирпича, с плоскими крышами и узкими окнами. Справа — плац, пустой, утрамбованный. Прямо — ещё одни ворота, за ними женский лагерь. Ирма пошла налево.

Внутри казармы было прохладно. Пахло мастикой для пола и хлоркой. Коридор длинный, с голыми стенами, покрашенными в бледно-зелёный цвет. Пол бетонный, скрипучий под ногами. Она нашла комнату с табличкой «Регистрация персонала». Дверь была открыта. За столом сидела женщина лет сорока — сухая, с лицом, которое ничего не выражало. На стене — портрет Гитлера и карта лагеря.

— Фамилия?

— Грезе.

— Имя?

— Ирма.

— Год рождения?

— Двадцать третий.

— Место рождения?

— Врехен.

— Образование?

— Восемь классов.

— Опыт работы?

— Помощница медсестры в санатории СС Хоэнлихен. Молочный завод.

Женщина писала, не поднимая головы. Потом подняла, посмотрела равнодушно.

— Комната двадцать три, третий этаж, третья дверь направо. Ключ у хозяйственника. Форму получите там же. Ужин в восемь. Вечерняя поверка в двадцать один. Построение завтра в шесть. Опоздаете — вычтут из зарплаты.

Ирма взяла ключ — железный, с номером на бирке, — вышла.

Хозяйственник сидел в подвале, в маленькой комнате с низким потолком, где пахло сыростью и машинным маслом. Старый, с седыми усами и мутными глазами. Он молча достал из шкафа одежду — серую юбку, серую куртку, пилотку, чёрные ботинки, чёрный галстук — и положил на прилавок.

— Примеряй.

Ирма взяла юбку — плотную, шерстяную, длиной до колен. Куртку — жёсткую, накрахмаленную, с пуговицами, которые застёгивались туго. Ботинки — тяжёлые, с толстой подошвой. Всё пахло новой тканью и химией — может быть, средством от моли. Она не примеряла. Сложила в стопку, прижала к груди, пошла наверх.

Комната была на третьем этаже, в конце коридора. Койки — двухъярусные, железные, с серыми одеялами и подушками без наволочек. Окно выходило на плац. Ирма выбрала нижнюю койку у окна. Поставила чемодан, развязала верёвку, достала вещи — три смены белья, расчёску, фотографию матери. Фотографию положила на тумбочку, потом подумала и спрятала под подушку. Бельё сложила в тумбочку, расчёску — туда же. Села на койку, посмотрела в окно. На плацу было пусто — только ветер гонял пыль.

В дверь заглянула девушка — высокая, с короткими светлыми волосами, громкая, говорливая, с большим кожаным чемоданом.

— Свободно?

Ирма кивнула.

Девушка бросила чемодан на верхнюю койку, начала разбирать вещи, доставая платье, полотенца, мыло в красивой коробке.

— Эльза. Из Берлина. А ты?

— Ирма. Из Врехена.

— Это где?

— В Мекленбурге.

— Далеко.

Эльза повесила платье на крючок — яркое, с цветами, какое не носят в лагере.

— Первый раз здесь?

— Да.

— Я тоже. Говорят, платят хорошо. Сто восемьдесят пять марок. Плюс форма, плюс жильё. Это больше, чем в конторе, где я работала. А ты кем была?

— Помощницей медсестры. Потом на заводе.

— На заводе? Это тяжело. Я в конторе сидела, бумажки перекладывала. Скука, зато чисто.

Эльза болтала, перекладывая вещи с места на место, и её голос заполнял комнату. Ирма не отвечала. Потом пришли ещё две — Герта из Баварии, молчаливая, с толстыми косами и руками, которые вечно были в движении, и Лизелотта, самая старшая, уже работавшая в лагере несколько месяцев. Лизелотта была маленькой, плотной, с жёсткими глазами и тонкими губами. Она не улыбалась.

— Правила. Не опаздывать. Не болтать с заключёнными. Не брать у них ничего. Не жаловаться. Нарушителей увольняют без выходного пособия. — Она помолчала. — И не лезьте не в свои дела. Здесь каждый сам за себя. Вопросы?

Эльза покачала головой. Герта молчала. Ирма тоже.

Лизелотта развернулась и вышла. В коридоре стало тихо.

В восемь — ужин. Столовая была большой, с длинными столами и железными мисками. С потолка свисали голые лампочки, горели тусклым жёлтым светом. Женщины сидели группами — кто-то смеялся, кто-то тихо ел, кто-то смотрел в стену. Ирма села в углу, положила перед собой миску, взяла ложку. Суп был жидким, тёплым, пах капустой и чем-то ещё, чего она не могла определить. Хлеб — серый, сухой, с трещинами на корке. Маргарин — жёлтый, скользкий. Она ела, не чувствуя вкуса. Эльза сидела через два стола от неё, болтала с какой-то женщиной и смеялась — громко, заливисто. Герта сидела одна, жевала молча, запивая водой из кружки. Лизелотта ходила между столами, смотрела по сторонам, как будто проверяла, все ли на месте. Ирма доела, вытерла миску хлебом, положила ложку. Пошла в комнату, легла на койку, не раздеваясь. За окном темнело, вышки зажгли прожекторы, свет скользил по проволоке, по крышам бараков, по пустой земле. Было тихо — так тихо, что слышно было, как где-то скрипит дверь.

В двадцать один — вечерняя поверка. Все надзирательницы строились на плацу, фрау К. пересчитывала их, сверялась со списком. Ирма стояла в третьем ряду, смотрела прямо перед собой. Прожекторы освещали плац жёлтым светом, тени падали на бетон чёткими чёрными пятнами. Фрау К. прошла вдоль строя, остановилась напротив Ирмы, посмотрела на неё, поставила галочку. Пошла дальше. Ирма почувствовала этот взгляд — короткий, цепкий, как будто фрау К. запоминала её. Не лицо. Не имя. Что-то другое. Что-то, что она искала в каждой новой надзирательнице. Ирма не знала, что именно. Но почувствовала. И выпрямилась — сама не зная почему. Как выпрямлялась всегда, когда на неё смотрели. Даже когда не хотела. Поверка заняла пять минут. Потом — отбой. Ирма вернулась в комнату, разделась, повесила форму на спинку кровати. Соседки уже ложились. Эльза что-то бормотала, стягивая ботинки. Герта молча залезла на верхнюю койку. Лизелотта сидела на своей кровати, смотрела в стену. Ирма легла, натянула одеяло. Соседки дышали — каждая по-своему. Эльза — глубоко, ровно, как спят люди, которые не знают, что такое бессонница. Герта — тихо, почти беззвучно, как будто боялась, что её услышат. Лизелотта — коротко, сухо, как будто и во сне продолжала считать. Шесть разных дыханий. Шесть разных ритмов. Ни одного знакомого. Ирма лежала и слушала их — не потому что хотела. Просто слушала. Как слушала когда-то дыхание матери за стеной. Как будет слушать дыхание Греты в пустеющем блоке. Как будет слушать тишину рядом с собой, когда Греты не станет. Прожектор за окном шарил по проволоке — свет, темнота, свет, темнота. Часовой на вышке стоял неподвижно. Из женского лагеря, откуда-то издалека,

донёлся звук — не крик, не песня, а всхлип. Тихо, в подушку, так, чтобы не слышали, но в тишине ночи слышно всё. Ирма слышала. Лежала с закрытыми глазами. Не спалось.

Утром — построение в шесть. Она встала в пять, умылась холодной водой в общем умывальнике — узкой комнате с ржавыми кранами и мокрым полом, — оделась, вышла на плац. Форма была жёсткой, воротник тёр шею, ботинки жали. Она застегнула куртку на все пуговицы, поправила пилотку и встала в строй. Женщин было человек пятьдесят — все в серой форме, все с пилотками, все с одинаковыми лицами, на которых ничего не было написано. Солнце только вставало, тени падали длинными полосами. Вдалеке, за второй полосой проволоки, виднелись бараки женского лагеря — серые, низкие, с маленькими окнами. Старшая надзирательница, фрау К., вышла перед строем — высокая, широкоплечая, с голосом, который перекрывал весь плац. В руках — папка.

— Блоки А, Б, В, Г, Д. Каждая получает закреплённый блок. Перемещение по лагерю — только в составе дежурной смены. Самовольное оставление поста — увольнение и передача в гестапо. Вопросы?

Тишина.

— Грезе. Блок А.

Блок А был самым дальним, почти у самой проволоки, туда вела бетонная дорожка, обсаженная чахлыми кустами, которые никто не поливал. Старшая надзирательница блока А, фрау Ш., ждала её у входа в барак — маленькая, коренастая, с руками, которые она держала в карманах серой куртки. Ей было лет сорок, лицо обветренное, с глубокими морщинами вокруг рта, пальцы жёлтые от никотина, голос хриплый, как будто она курила всю жизнь, не переставая. Она посмотрела на Ирму с ног до головы, ничего не сказала, развернулась и пошла внутрь барака. Ирма за ней.

Внутри было темно и тесно, пахло сыростью и чем-то кислым. Фрау Ш. остановилась у первой секции нар, достала из кармана блокнот, открыла.

— Утром — подъём в пять. В пять тридцать — построение на плацу. Переключка. Считаешь вслух, чтобы все слышали. Потом — завтрак. В шесть тридцать — колонна на завод. Семь часов работы. Обед — полчаса. Ещё четыре часа работы. В семнадцать — возвращение. Ужин. Вечерняя переключка. Отбой в двадцать один.

Она говорила быстро, сухо, не глядя на Ирму, как будто читала инструкцию, которую знала наизусть.

— Если кто-то заболел — докладываешь мне. Если кто-то умер — докладываешь мне. Если кто-то сбежал — докладываешь мне, но сначала звонишь в охрану. Поняла?

— Да.

— Заключённые строятся в пять шеренг по десять человек. Считать начинаешь с левого края. Первая шеренга — раз, два, три. Не торопись. Лучше медленно и правильно, чем быстро и с ошибкой. Ошибёшься — пересчитываешь с начала. Я буду стоять рядом, пока не привыкнешь.

Ирма кивнула. Фрау Ш. посмотрела на неё, достала сигарету, прикурила, выпустила дым в потолок.

— Вопросы?

— Нет.

— Посмотрим.

Первая утренняя переключка была через два часа. Ирма стояла на плацу блока А, в руках — список на сорок семь фамилий. Заключённые — женщины в полосатых робах, с бритыми головами, с серыми лицами — выстроились в пять шеренг. Кто-то стоял ровно, кто-то шатался, кто-то смотрел в землю. Фрау Ш. стояла рядом, курила, не глядя на Ирму. Ирма начала считать. Первая шеренга — десять человек. Вторая — десять. Третья — десять. На четвёртой сбилась

— девять или десять, она не помнила. Начала сначала. Солнце уже пекло, на лбу выступил пот, список в руках дрожал.

— Медленнее, — сказала фрау Ш., не поворачивая головы. — Не спеши. Они никуда не денутся.

Ирма выдохнула, начала заново. Первая шеренга — десять. Вторая — десять. Третья — десять. Четвёртая — десять. Пятая — семь. Всего — сорок семь. Она сверилась со списком — сорок семь. Правильно.

— Хорошо, — сказала фрау Ш. — Запомни это ощущение. Завтра будешь считать сама.

Ирма пошла в конец строя, встала за спинами заключённых. Кто-то кашлял — сухо, над-рывно, долго. Ирма не обернулась.

После переключки — завтрак. Заключённые получили по миске жидкого супа и по куску хлеба. Ирма стояла у дверей столовой, смотрела, как они едят — быстро, жадно, не поднимая головы. Фрау Ш. курила рядом, выпуская дым в сторону, чтобы он не летел в лицо Ирме.

— Они все одинаковые, — сказала она. — Ты для них не человек. Ты — форма. Ты — власть. Они будут смотреть в пол, когда ты проходишь. Они будут молчать, когда ты говоришь. Если кто-то поднимет голову — это вызов. Если кто-то заговорит — это бунт. Не позволяй.

Ирма смотрела на женщин, на их бритые головы, на их руки, которые дрожали, когда они подносили ложку ко рту.

— Поняла?

— Да.

В шесть тридцать — колонна на завод. Заключённые строятся по три в ряд, руки по швам, глаза в пол. Ирма идёт сбоку, фрау Ш. — с другой стороны. Колонна движется медленно, шаркая деревянными башмаками по бетонной дорожке. Пыль поднимается из-под ног, оседает на робах, на лицах. Ирма смотрит прямо перед собой, старается не смотреть на женщин, но краем глаза видит их спины, их бритые затылки, их руки, висящие вдоль туловища, как плети.

Завод — длинное кирпичное здание с зарешеченными окнами. Внутри шумят швейные машины, пахнет тканью и машинным маслом. Заключённые заходят внутрь, охрана запирает дверь. Ирма остаётся у ворот. Фрау Ш. уходит курить в тень — там, где стоит скамейка и железная бочка, набитая окурками. Ирма стоит одна. Солнце печёт, форма жёсткая, воротник трёт шею, ботинки жмут в подъёме. Смотрит на забор, на вышки, на часовых, на проволоку. Птиц нет. Только ветер гоняет пыль по бетону. Она думает — нет, не думает: она стоит и ждёт. Через два часа — перерыв. Заключённых выводят во двор, они садятся на бетон, едят хлеб, который взяли с собой. Ирма стоит у дверей, смотрит. Одна из заключённых — молодая, с большими глазами — поднимает голову, смотрит на Ирму. Ирма смотрит в ответ. Девушка не отводит глаза. Секунда, две, три. Ирма чувствует, как что-то поднимается внутри — не гнев, не страх, не жалость. Просто пустота. Фрау Ш. подходит, встаёт рядом.

— Не смотри им в глаза, — говорит она, не повышая голоса. — Они этого не заслужили.

Ирма отводит взгляд. Заключённая опускает голову. Колонна уходит обратно в цех.

Обеденный перерыв — в столовой для персонала. Длинные столы, железные миски, суп с капустой и картошкой, хлеб, маргарин. Ирма сидит в углу, ест, смотрит в стену. Фрау Ш. садится напротив, кладёт на стол палку — короткую, чёрную, резиновую, с ремешком на конце.

— Это твой инструмент, — говорит она. — Палка. Всегда носи с собой. На поясе, в руке — неважно. Главное — чтобы была под рукой.

Ирма смотрит на палку, не трогает.

— Бить в лицо нельзя — следы остаются. По животу и по почкам — можно. Палкой — по плечам, по спине, по рукам. Ногой — если упала. Но сначала предупреди: «Встать». Если не встала — бей. Если не идёт — бей. Если смотрит — бей. Иначе они сядут тебе на голову.

Фрау Ш. берёт палку, взвешивает на ладони, бросает на стол.

— Собаку тебе дадут через несколько дней. Овчарку, молодую. Будешь кормить сама, выгуливать, разговаривать с ней. Через месяц она будет слушаться только тебя. Собаку не забывай. Она нужна тебе как инструмент страха. Они боятся собак больше, чем палки.

Ирма кивает. Фрау Ш. закуривает, выпускает дым в потолок.

— Есть вопросы?

— Нет.

— Тогда ешь. После обеда — снова завод. У тебя есть час.

После обеда — снова завод. Ирма снова стоит у ворот, смотрит на забор, на вышки, на проволоку. Внутри шумят швейные машины, кто-то кашляет — тот же сухой, надрывный кашель. Ирма закрывает глаза, открывает. Четыре часа тянутся медленно, как четыре года.

К вечеру — возвращение. Колонна идёт обратно, шаркая башмаками, и пыль снова поднимается из-под ног. Ирма идёт сбоку, считает про себя шаги. Тысяча двести от завода до лагеря. Она проверила. Вечерняя перекличка — без ошибок. Сорок семь, все на месте. Ужин — суп, хлеб, маргарин. Ирма ест, не чувствуя вкуса. Потом — отбой. Она сидит на койке, смотрит в окно, на прожектор, на часового, на проволоку. Эльза спит, свесив руку с верхней койки. Герта лежит на спине, смотрит в потолок. Лизелотты нет — она дежурит. Ирма ложится, закрывает глаза. Не спит. Считает удары сердца. Раз, два, три. До двадцати досчитывает, до тридцати, до сорока. Потом сбивается.

5

Равенсбрюк, август 1942 года

Через несколько дней ей дали собаку. Овчарку, молодую, с большими лапами и длинными ушами, которые она ещё не научилась держать — одно постоянно падало, другое торчало вверх. Ветеринар сказал, что одно так и останется. Навсегда. Звали её Кара. Её привели на поводке — старом, потёртом, с чужого плеча. Проводник, молодой солдат, отдал поводок Ирме и сказал: «Осторожно. Она молодая. Кусается». Потом ушёл. Ирма осталась одна — с собакой, с поводком, с этим тёплым, тяжёлым, дышащим существом, которое смотрело на неё и не знало, кто она. Как и она не знала, кто оно. Они стояли друг против друга — женщина и собака — и не двигались. Потом Кара наклонила голову. Потом лизнула руку. И это было всё. С этого началось. Ирма взяла поводок — кожаный, жёсткий, с медной пряжкой. Собака посмотрела на неё, наклонила голову, потом лизнула руку. Язык был тёплым, шершавым. Ирма не убрала руку. Она стояла, смотрела на собаку, и собака смотрела на неё. Фрау Ш. курила рядом.

— Корми два раза в день. Выгуливай перед сном. Говори с ней. Она должна знать твой голос. Через месяц будет работать как надо.

Ирма повела собаку к блоку А. Кара шла рядом, поводок свободно свисал. У ворот блока она остановилась, понюхала землю, подняла голову, залаяла — громко, звонко, по-щенячьи. Заключённые, которые стояли на плацу, вздрогнули. Кто-то отступил на шаг. Ирма дёрнула поводок.

— Тихо.

Собака замолчала, села, посмотрела на неё.

— Хорошая девочка, — сказала Ирма.

Она не знала, почему сказала это. Слова вышли сами.

Вечером она взяла Кару на выгул — за бараками, где был пустырь, поросший лебедой, и узкая тропинка вдоль забора. Тропинка вела к старой берёзе, под которой лежали несколько камней. Ирма села на камень. Собака легла у ног, положила морду на лапы. Поводок свисал свободно. Ирма смотрела на забор, на проволоку за ним, на вышки. Кара смотрела на неё.

— Рядом, — сказала Ирма.

Собака не двинулась. Она и так лежала рядом.

— Рядом, — повторила Ирма, и голос её прозвучал странно — тихо, не так, как на плацу, не так, как с заключёнными. Она не знала, зачем говорит. Просто говорила. — Рядом. Сидеть. Лежать. Тихо.

Собака смотрела на неё, чуть наклонив голову. Потом зевнула, положила морду на бок и закрыла глаза. Ирма замолчала. Она сидела на камне, смотрела на тёмное небо, и не думала ни о чём. В первый раз за несколько дней — не думала. Просто сидела. Рядом с ней дышала собака. Тихо, ровно, тепло. Это было всё, что было. Она не знала, почему эти слова — «рядом», «сидеть», «тихо» — выходят из неё так легко. Как будто она говорила их всю жизнь. Как будто они были всегда. Может быть, потому что они ничего не требовали. Может быть, потому что они были простыми. Может быть, потому что собака слушала. Не как люди. Не как заключённые. Не как фрау Ш. Просто — слушала. И ждала. И это было всё, что нужно.

В комнате было темно. Эльза уже спала, Герта лежала на спине с открытыми глазами, Лизелотты не было — она дежурила. Ирма ввела собаку. Кара остановилась на пороге, посмотрела на койки, на людей, на окно. Потом вошла, обошла комнату, обнюхала углы. Вернулась к койке Ирмы, легла у изголовья, свернулась калачиком. Ирма легла. Собака дышала рядом — тепло, ровно, близко. Это было другое тепло. Не то, что на плацу. Не то, что в столовой. Не то, что в деревне. Это было тепло, которое ничего не требовало. Ирма лежала с открытыми

глазами и слушала. Прожектор шарил по проволоке — свет, темнота, свет, темнота. Из женского лагеря доносился плач — тихий, протяжный. Ирма слышала его, но теперь он не был один. Рядом с ней дышала собака. Она положила руку на пол — ладонью вниз. Кара лизнула её. Один раз. Коротко. Ирма не убрала руку.

Утром она проснулась раньше будильника. Кара уже сидела у койки, смотрела на неё, дышала часто и тепло. Ирма встала, натянула форму, взяла миску — жестяную, с вмятиной на боку, — насыпала корм. Корм был сухой, серый, похожий на гравий. Кара подошла, понюхала, посмотрела на Ирму. Не ела.

— Ешь, — сказала Ирма.

Собака не двигалась.

— Ешь, — повторила Ирма, и на этот раз голос был твёрже.

Кара опустила голову, начала есть. Медленно, неохотно. Ирма стояла рядом, смотрела. Она не знала, почему собака не ест. Может быть, из-за запаха. Может быть, из-за места. Может быть, просто не привыкла. Но она ела. Потом подняла голову, посмотрела на Ирму. В глазах было что-то — не просьба, не благодарность. Просто — смотрит. Ирма забрала миску, вымыла её под краном в коридоре, поставила на полку. Кара легла у койки, положила морду на лапы. Ирма села рядом. Ничего не говорила. Просто сидела.

Перед построением она вышла с Карой на плац. Фрау Ш. уже стояла у барака, курила. Увидела Ирму, кивнула. Ирма подошла.

— Команды знает? — спросила фрау Ш.

— Рядом. Сидеть. Тихо.

— Покажи.

Ирма дёрнула поводок.

— Рядом.

Собака встала, пошла рядом, ровно, у левой ноги. Фрау Ш. отошла в сторону. Кара не отвлекалась. Фрау Ш. вернулась.

— Ещё раз. Медленнее.

Ирма повторила. Кара шла рядом. Фрау Ш. смотрела.

— Хорошо. Теперь сидеть.

Ирма остановилась. Кара села.

— Тихо.

Кара молчала. Фрау Ш. закурила.

— Она у тебя умная. Слушается. Через месяц будет работать как надо. Только не балуй. Собака должна знать, кто хозяин.

Ирма кивнула. Она погладила Кару по голове, по ушам — одно стояло, другое падало, так и не встало. Собака закрыла глаза. Ирма убрала руку.

— Хорошая девочка, — сказала она.

И на этот раз уже знала, почему это говорит.

Вечером она пошла с Карой в барак. Блок А. Женщины лежали на нарах, те же лица, те же бритые головы. Ирма вошла. Кара шла рядом, поводок свободно свисал. Женщины замерли. Одна закрыла лицо руками. Другая отступила к стене. Третья смотрела прямо перед собой, не двигаясь. Кара не лаяла. Она шла медленно, опустив голову, нюхала воздух. Подошла к первой койке, понюхала ногу женщины. Женщина не шевельнулась. Кара вернулась к Ирме, села у ноги. Ирма смотрела на женщин. Никто не смотрел на неё. Все смотрели на собаку. Ирма поняла. Не она их пугает. Собака.

Вечером, когда Лизелотта ушла на дежурство, а Эльза спала, в дверь постучали. Ирма открыла. На пороге стояла Грета — высокая, с короткими тёмными волосами, с сигаретой в руке. Та, с которой она ехала. Она улыбнулась — не широко, одними уголками губ.

— Не спишь?

— Нет.

— Поговорим?

Ирма отступила. Грета вошла, села на стул у стола. Посмотрела на Кару, которая лежала у койки.

— Собака?

— Да.

— Хорошая?

— Да.

Грета закурила, выпустила дым в потолок. Помолчала. Потом сказала:

— Я в Освенциме была. Полгода. Потом перевели. Теперь вот снова еду. — Она посмотрела на Ирму. — Ты не боишься?

— Нет.

— Будешь.

Ирма молчала. Грета затянулась, выпустила дым.

— Там всё по-другому. Не как здесь. Здесь хоть собаки, хоть палки. Там — трубы. Дым. Люди идут и не знают, куда. И ты стоишь и смотришь. И ничего не можешь.

Она замолчала. Ирма смотрела на неё. Грета докурила, затушила окурочок о подошву сапога, спрятала в карман.

— Ладно. Пойду. Завтра рано вставать.

Она встала, посмотрела на Кару, потом на Ирму.

— Ты странная. Но это ничего. Здесь все странные.

И вышла. Ирма осталась сидеть. Кара подошла, положила морду на колени. Ирма не убрала руку. Она сидела долго. Смотрела на дверь, за которой исчезла Грета. Что-то осталось в комнате после неё — не запах. Не дым. Что-то другое. Тень? След? Она не знала. Просто сидела и смотрела на дверь. И думала о том, что эта женщина — первая, кто заговорил с ней здесь. Первая, кто не просто сказал «работай» или «не опаздывай». Первая, кто спросил: «Ты не боишься?» Ирма не боялась. Она никогда не боялась. Но она не знала, что ответить. Потому что ответ был — «нет». А это было неправильно. Потому что бояться было надо. Но она не умела.

На следующий день случилось в первый раз. Заключённая в блоке А — пожилая, с седыми прядями на бритом черепе — не вышла на проверку. Лежала на верхних нарах, лицом к стене, дышала тяжело, с присвистом. Ирма зашла в барак, проверила список — сорок семь, одна отсутствует. Подошла к нарам, посмотрела вверх.

— Встать.

Женщина не двигалась.

— Встать, — повторила Ирма.

Женщина кашлянула, не повернулась.

Ирма стояла, не зная, что делать. Потом она вспомнила: палка. Палка висела на поясе. Она достала её, подержала в руке — лёгкая, резиновая, удобная. Но она не ударила. Не могла. Стояла, сжимала палку, смотрела на женщину, которая не двигалась, не дышала громко, не кашляла. Просто лежала.

Вошла фрау Ш.

— Что случилось?

— Не встаёт.

Фрау Ш. подошла к нарам, схватила женщину за плечо, рванула вниз. Женщина упала на пол, ударилась коленями, застонала.

— Встать, — сказала фрау Ш.

Женщина встала, шатаясь. Фрау Ш. ударила её палкой по плечам — раз, другой, третий. Женщина не упала. Стояла, согнувшись, держалась за нары.

— На плац, — сказала фрау Ш.

Женщина пошла, волоча ноги. Ирма смотрела. Фрау Ш. повернулась к ней.

— Запомни, Грезе. Если не встаёт — бей. Если не идёт — бей. Если смотрит — бей. Иначе они сядут тебе на голову.

Она убрала палку, закурила.

— Всё. Пошли.

Ирма пошла за ней. Палка тяжелела на поясе.

На следующий день Ирма вела колонну на завод одна. Фрау Ш. осталась в лагере — у неё была бумажная работа. Ирма шла сбоку, собака — рядом, на поводке. Колонна двигалась медленно, шаркая башмаками, пыль поднималась из-под ног. Та же дорога, те же заборы, те же вышки. Ирма считала шаги. Тысяча двести. Она знала.

Одна из заключённых — молодая, с большими глазами — отстала. Шла медленнее других, спотыкалась, смотрела под ноги. Ирма подошла ближе.

— Быстрее.

Заключённая не ускорила. Ирма повторила:

— Быстрее.

Заключённая подняла голову, посмотрела на неё. Долго, пристально, как в первый раз. В её глазах было что-то — не страх, не ненависть, не просьба. Ирма смотрела в ответ. Рука сама потянулась к поясу, достала палку. Палка легла в ладонь, привычно, удобно. Ирма замахнулась — медленно, как во сне, — и ударила. Палка припала по плечу, звук был глухим, мягким. Заключённая охнула, пошатнулась, упала в пыль. Встала быстро, почти сразу. Пошла быстрее, догнала колонну. Собака не залаяла. Она шла рядом, ровно, как будто ничего не случилось. Ирма шла сзади, смотрела на свою руку. Рука не дрожала. Палка висела на поясе. Колонна дошла до завода. Заключённые зашли внутрь. Ирма осталась у ворот, ждала. Внутри шумели швейные машины. Смотрела на свою руку — на пластырь, который пожелтел и отклеился по краям, на потрескавшуюся кожу, на грязь под ногтями. Рука была её. Она сжала её в кулак, разжала. Потом убрала в карман.

В комнате она села на койку. Кара подошла, положила морду на колени. Ирма смотрела на свои руки. Правая рука держала палку. Палка была холодная. Ирма положила её на стол. Потом посмотрела на Кару. Собака смотрела на неё. Ирма протянула руку, погладила её по голове, по ушам.

— Хорошая девочка, — сказала она.

И в этом было что-то, чего она не могла назвать. Не тепло. Не нежность. Просто — рядом. Кто-то дышит. Кто-то смотрит. Кто-то не отводит глаз. И это было всё, что у неё осталось.

Вечером — проверка, ужин, отбой. Ирма сидела на койке, смотрела в окно. Эльза что-то говорила, смеялась, Ирма не слышала. Герта молчала. Лизелотта смотрела в стену. Кто-то постучал в дверь.

— Грезе, к фрау К.

Ирма встала, поправила форму, пошла. Фрау К. сидела за столом, курила, смотрела на карту лагеря на стене. Не обернулась.

— Грезе. Фрау Ш. доложила о тебе. Хорошая работа. Продолжай в том же духе.

— Спасибо, — сказала Ирма. Она не знала, что ещё сказать.

— Иди.

Она вернулась в комнату, легла. За окном — прожектор, вышка, часовой. Из женского лагеря — тишина. Или не тишина: кто-то плакал, но она уже не различала. Плач был таким же далёким, как шум машин на заводе, как шаги колонны, как её собственное дыхание. Она закрыла глаза. Сосчитала до двадцати. Потом до тридцати. Потом сбилась, не стала начинать сначала. Повернулась на бок, натянула одеяло до подбородка. Кара спала на полу, положив морду на лапы, и во сне шевелила ушами. Ирма смотрела на неё, потом закрыла глаза. Уснула.

6

Освенцим, март 1943 года

Ты хочешь увидеть её без формы? Я покажу.

Она стоит перед маленьким зеркалом в комнате для персонала — комната на четверых, койки двухъярусные, железные, серые одеяла, подушки без наволочек. Соседки уже ушли — кто на дежурство, кто в столовую, кто в город, — и Ирма осталась одна. Форма висит на спинке стула: серая куртка, серая юбка, чёрный галстук, сапоги, начищенные до зеркального блеска. Сама она — в белой комбинации, тонкой, почти прозрачной, с кружевом по краям; купила в лагерной лавке за несколько марок — дешёвое, но красивое. Спина прямая, плечи расправлены. Шрамы на левом бедре — тонкие, белесые, как трещины на старой посуде. Волосы распущены — длинные, светлые, мягкие, они падают на плечи, на спину, почти до пояса; она расчёсывает их, проводя щёткой раз за разом, и смотрит на себя в зеркало. Потом закалывает — шпильки, одна за другой, аккуратно, тщательно, это занимает пятнадцать минут. Надевает комбинацию, потом юбку — плотную, шерстяную, длиной до колен, — потом куртку — жёсткую, накрахмаленную, с пуговицами, которые застёгиваются туго, — потом галстук, потом сапоги. Поправляет пилотку. Подходит к зеркалу. Смотрит.

Фрау К. вызвала её в кабинет в начале марта, курила, смотрела на карту лагеря на стене. — Биркенау. Нужны толковые надзирательницы. Поедешь завтра.

Ирма кивнула. Не спросила, сколько, не спросила, надолго. Взяла предписание, сложила, положила в карман. Вечером она сидела на койке, смотрела, как Кара спит на полу, положив морду на лапы, и собирала вещи — чемодан был тот же, старый, перетянутый верёвкой, фотография матери под подушку, бельё в тумбочку, расчёску туда же. Кара подняла голову, посмотрела на неё, лизнула руку; Ирма не убрала руку.

Поезд шёл всю ночь. Вагон был старым, с деревянными скамьями и окнами, которые не открывались; душно, пахло потом и углём, и кто-то из женщин — Ирма не запомнила, кто — открыла окно, несмотря на холод, и в лицо ударил ветер, сырой, промозглый, с запахом приближающейся весны, который смешивался с вонью вагона и делал её ещё более невыносимой. Ирма сидела у окна, смотрела в темноту. За стеклом мелькали станции — редкие огни, будки стрелочников, силуэты зданий, — и провода, которые то поднимались, то опускались. Кара лежала у ног, положив голову на ботинок, и спала; иногда вздрагивала во сне, скулила тонко, жалобно, и Ирма протягивала руку, гладила её по голове, по ушам — одно стояло, другое падало, так и не встало, — и скулёр прекращался.

В вагоне были другие надзирательницы — человек десять, все в серой форме, все с пилотками, все с одинаковыми лицами, на которых ничего не было написано. Ирма не знала их, они не знали её. Никто не разговаривал. Ирма смотрела на них и не запоминала лиц. Все они были одинаковыми — серые куртки, пилотки, сапоги. Как будто их не было. Как будто они были частью вагона — скамейками, окнами, потолком. Она не знала, куда они едут. Не знала, зачем. Не знала, будет ли кто-то из них рядом через месяц. Через год. Никогда. Она просто смотрела в окно. И ждала. Чего — она не знала. Может быть, того, что за окном. Может быть, того, что будет потом. Может быть, ничего. Только одна — высокая, с короткими тёмными волосами и громким голосом — села напротив, закурила, выпустила дым в потолок.

— Ну что, Грезе, снова вместе.

Она засмеялась — смех был невесёлым.

— Я же говорила. Будешь.

Ирма не ответила. Грета говорила много, быстро, перескакивая с темы на тему — про еду, про собак, про эсэсовцев, — но Ирма почти не слушала; она смотрела в окно, где уже

начинало светать, и небо становилось серым, потом розовым, потом снова серым. Когда вдали показались трубы — высокие, кирпичные, из которых валил дым, густой, чёрный, не похожий на дым из печных труб, которые она видела в детстве, когда отец топил печь и дым поднимался вверх, белый, почти прозрачный, — Ирма смотрела на этот дым и не знала, что он значит; она просто отметила, что дыма много, что пахнет он не так, как обычно, и что Кара забеспокоилась, заскулила, прижалась к ноге. Она смотрела на этот дым долго. Он поднимался ровно, спокойно, как будто делал это всегда. Как будто это было обычное дело. Как будто там, внутри, ничего не происходило. Просто — дым. Просто — трубы. Просто — небо, серое, низкое, в которое этот дым уходил и не возвращался. Ирма смотрела и не понимала. Но что-то внутри неё — не в голове, глубже, где-то под рёбрами, — сжалось. Как будто тело знало то, чего не знал разум. Как будто тело уже было здесь. Раньше. Всегда.

Станция называлась «Аушвиц». Платформа была бетонной, с железным навесом, за которым виднелись бараки — серые, низкие, с маленькими окнами, — и вышки, и проволока, и часовые с винтовками. Ирма вышла из вагона, огляделась. Кара выскочила следом, села, подняла голову, понюхала воздух и заскулила — громко, настойчиво, страшно. Ирма дёрнула поводок.

— Тихо.

Собака замолчала, но продолжала дрожать, прижимаясь к ноге. Грета вышла следом, закурила.

— Ну что, чувствуешь?

— Да.

— Это только начало.

Грета выпустила дым в сторону, чтобы не летел в лицо.

На платформе их встречала старшая надзирательница — фрау Д. Сухая, с острыми плечами, с лицом, которое ничего не выражало. Она посмотрела на Ирму, на её чемодан, на собаку, на Грету.

— Грезе? Ирма Грезе?

— Да.

— Следуйте за мной. Остальные — тоже.

Повела их к казармам для персонала. Дорога была длинной — мимо бараков, мимо плаца, мимо проволоки, под напряжением которой воздух дрожал и потрескивал. Ирма шла, смотрела по сторонам, старалась запомнить дорогу, но бараков было слишком много, вышки тянулись до самого горизонта. Бараки были серыми, низкими, с маленькими окнами. Но заключённые, которые попадались навстречу, были другими: тоньше, бледнее, глаза — глубже, пустее. Некоторые шли, шатаясь, опираясь друг на друга. Некоторые сидели на земле, не двигаясь, глядя в одну точку. Некоторые лежали прямо на дорожках — никто не обращал на них внимания. Ни надзирательницы, ни часовые, ни другие заключённые. Ирма смотрела на них и думала — нет, не думала: она шла и смотрела.

В казарме для персонала было чисто. Пахло хлоркой и мастикой для пола. Ирме выделили комнату на четверых, койку у окна — как в Равенсбрюке. На двух других койках уже лежали вещи — чьи-то, чужие. Ирма поставила чемодан, развязала верёвку, достала вещи: три смены белья, расчёску, фотографию матери. Фотографию положила на тумбочку, потом подумала и спрятала под подушку — как там, в Равенсбрюке. Бельё сложила в тумбочку, расчёску — туда же. Кара легла на пол, положила морду на лапы и смотрела на дверь, не отрываясь.

— Что, чуешь? — спросила Ирма.

Собака заскулила — тихо, почти беззвучно.

— Тихо.

Кара замолчала.

Утром — построение. Фрау Д. стояла перед строем, курила, смотрела на список. В руках — папка. Голос — резкий, как удар хлыста.

— Блоки А, Б, В, Г, Д. Каждая получает закреплённый блок. Перемещение по лагерю — только в составе дежурной смены. Самовольное оставление поста — увольнение и передача в гестапо. Вопросы?

Тишина.

— Грезе. Блок В.

Ирма кивнула. Блок В был не дальним, не близким — просто блоком. Пошла туда через плац, мимо других бараков, мимо пустых площадок, на которых когда-то, может быть, были цветы, а теперь — только утоптанная земля. Кара шла рядом, поводок свободно свисал. Собака не крутила головой, не отвлекалась — шла прямо, прижав уши, поджав хвост. Ирма чувствовала, как дрожит поводок: собака дрожала всем телом.

В блоке В было темно и тесно. Пахло сыростью и чем-то кислым — как в Равенсбрюке, но сильнее, гуще. Женщины лежали на трёхъярусных нарах, головы бритые, лица серые, робы полосатые. Ирма прошла вдоль нар, считая: тридцать два, тридцать три, тридцать четыре. Она не сбивалась. Она научилась считать в Равенсбрюке, и это умение осталось с ней.

После переключки — завтрак. Заключённые получили по миске жидкого супа и по куску хлеба. Ирма стояла у дверей столовой, смотрела, как они едят — быстро, жадно, не поднимая головы. Что-то было другим. В Равенсбрюке они ели ещё быстрее, ещё жаднее, но здесь, в Освенциме, они не просто ели — они боролись за каждую ложку, отталкивали друг друга, прятали хлеб за пазуху. Ирма смотрела на их руки, на их дрожащие пальцы, на их глаза, которые блестели в полумраке. Думала — нет, не думала: стояла и ждала.

После завтрака старшая надзирательница вызвала её.

— Сегодня пойдёшь смотреть. Нужно знать, как это делается. Это не Равенсбрюк. Здесь всё по-другому.

Она повела Ирму к рампе. Дорога была длинной — мимо бараков, мимо проволоки, мимо пустых площадок. Запах становился сильнее с каждым шагом — не запах даже, а что-то другое, тяжёлое, маслянистое, что въедалось в язык, в горло, в лёгкие. Кара шла рядом, поводок свободно свисал, но собака не крутила головой, не отвлекалась — шла прямо, прижав уши, поджав хвост. Ирма чувствовала, как дрожит поводок.

Рампа была длинной, бетонной, с железными фонарями по краям. На ней стояли люди — сотни, тысячи. Они выходили из вагонов, неуклюжие, заспанные, в гражданской одежде, с чемоданами, с детьми на руках. Ирма остановилась на краю, посмотрела на них. Они были чистыми, сытыми, не похожими на заключённых, которых она видела в Равенсбрюке. Старшая надзирательница встала рядом, закурила.

— Смотри. Это селекция. Врач решает, кто пойдёт работать, а кто — нет.

Ирма смотрела. Врач был в белом халате, с палочкой в руке. Он стоял у выхода из вагона: когда люди проходили мимо, он указывал палочкой направо или налево. Направо — шли в одну сторону, строем, быстро, без паники. Налево — шли в другую, медленнее, с детьми, со стариками, с теми, кто шатался. Ирма смотрела на лица. Некоторые плакали. Некоторые кричали. Некоторые молчали, глядя прямо перед собой — как тогда, на плацу в Равенсбрюке, когда она впервые увидела женщину с большими глазами.

Врач указывал палочкой: направо — работа, налево — неизвестно; направо — работа, налево — неизвестно. Монотонно, как конвейер на молочном заводе, когда бутылки двигались по ленте и она ставила их, брала следующую, ставила, брала. Только здесь были не бутылки. Люди. Ирма смотрела на их лица, на их глаза, на их руки, которые дрожали. Одна из них — молодая женщина с рыжими волосами, коротко стриженными, почти бритыми, с веснушками на щеках, яркими, как у ребёнка — посмотрела на Ирму, и Ирма посмотрела в ответ. Секунда,

две, три. Женщина не отводила взгляд. Врач указал палочкой налево. Женщина пошла. Ирма смотрела ей вслед.

Женщина сделала несколько шагов — и остановилась. Кто-то из охраны — молодой, с папкой в руках — подошёл к врачу, что-то сказал. Врач посмотрел на женщину, потом на папку, потом снова на женщину. И махнул палочкой — направо.

Женщина вернулась. Пошла в другую сторону. Ирма смотрела ей вслед.

Селекция длилась несколько часов. Ирма стояла и смотрела. Не отворачивалась. Не закрывала глаза. Просто стояла и смотрела, как врач указывает палочкой, как люди идут направо или налево, как их дети плачут, как их старики молчат, как их матери прижимают к груди младенцев. Думала — нет, не думала. Стояла и смотрела.

Вечером она вернулась в казарму. Кара легла на пол, свернулась калачиком и уснула, уткнув нос в хвост. Ирма сидела на койке, смотрела в окно — на вышки, на проволоку, на прожектор, который шарил по баракам, выхватывая то крышу, то дверь, то пустую стену. Соседки — которых она не знала — сидели на своих койках, курили, переговаривались. Одна, молодая, с короткими светлыми волосами и пухлыми губами, накрашенными ярко-красной помадой, спросила:

— Ну как, была на селекции?

— Да.

— И как?

— Нормально.

— Страшно не было?

Ирма посмотрела на неё.

— Нет.

Женщина пожала плечами, отвернулась, заговорила с другой.

Ирма легла, закрыла глаза. Сосчитала до двадцати, до тридцати, до сорока. Потом сбилась, не стала начинать сначала. Повернулась на бок, натянула одеяло до подбородка. Кара вздохнула во сне, придвинулась ближе. Ирма положила руку на тёплую собачью спину.

А ты? Ты бы легла? Я не знаю. Я не был там. Но она — легла. И уснула.

7

Освенцим-Биркенау, март-апрель 1943 года

Она проснулась затемно — в пять утра, как всегда; Кара уже сидела у кровати, положив морду на край койки, и смотрела на неё преданными, влажными глазами, дышала часто и тепло. Ирма протянула руку, погладила собаку по голове, по ушам — одно стояло, другое падало, так и не встало, — потом села, спустила ноги на пол, нащупала сапоги, начищенные с вечера до зеркального блеска, но всё равно казавшиеся тусклыми в утреннем полумраке. В коридоре было тихо — только где-то в конце, за закрытой дверью, кто-то кашлял, сухо, надрывно, долго, и кто-то другой, женский голос, усталый, говорил что-то неразборчивое, ворчливое, и тут же замолкал. Ирма накинула халат — тонкий, синий, купленный в лагерной лавке за несколько марок, — взяла полотенце, мыло и пошла в умывалку, стараясь ступать бесшумно, но пол скрипел, и звук казался ей очень громким в тишине, где только изредка кто-то вздыхал во сне или ворочался на скрипучей койке.

В умывалке было пусто — только Грета стояла у раковины, чистила зубы, и на ней была новая комбинация, шёлковая, чёрная, с кружевом, и Ирма заметила, как та ткань переливалась при тусклом свете лампочки, как кружево облегалo плечи, как Грета смотрела на себя в зеркало — не в маленькое, которое Ирма носила с собой, а в большое, треснувшее, висевшее на стене, и улыбалась собственному отражению; пахло дешёвым мылом, мокрым телом, духами — Грета уже успела надушиться, резко, сладко, перебивая запах хлорки. Ирма подошла к раковине, умылась ледяной водой, вытерлась. Она стояла рядом с Гретой, но не смотрела на неё. Смотрела в своё маленькое зеркальце, на себя — на бледное лицо, на тени под глазами, на губы, которые она ещё не накрасила. Грета была рядом — тёплая, живая, пахнущая духами и мылом. Ирма чувствовала её локоть, почти касавшийся своего. Чувствовала её дыхание. Чувствовала её — но не смотрела. Не потому что не хотела. Потому что если посмотрит — что-то изменится. Что — она не знала. Но знала, что не хочет. Пока не хочет.

Грета обернулась, выплюнула воду.

— Грезе, ты сегодня дежуришь?

— Да.

— В блоке В?

— Да.

— Смотри там, — Грета засмеялась, вытирая лицо полотенцем. — Эта старая ведьма, фрау Д., сегодня злая. Говорят, у неё ночью опять кто-то сбежал. Она теперь всех грызть будет.

Другая женщина, молодая, с пухлыми губами, накрашенными ярко-красной помадой, которая уже не смывалась после вчерашнего, подхватила:

— А я слышала, что не сбежал, а её любовник из канцелярии перевёл в другой лагерь. Типа, чтобы фрау Д. не узнала.

— Врёшь ты всё, — сказала Грета, закуривая. — У неё нет любовника. У неё сердце каменное.

Женщины засмеялись. Ирма не слушала. Она умылась, достала из кармана халата маленькое зеркальце — овальное, в пластиковой оправе, тоже из лагерной лавки — и поставила его на полочку. Достала щётку, расчёску, шпильки. Начала укладывать волосы — длинные, светлые, мягкие, они падали на плечи, на спину, почти до пояса; она расчёсывала их, проводя щёткой раз за разом, потом поднимала, закалывала шпильками. Пятнадцать минут. Каждое утро. Это был ритуал, такой же, как чистка сапог или перекличка: если причёска держалась плохо, если какая-то прядь выбивалась из-под пилотки, она чувствовала себя голой, незащищённой — не перед заключёнными, перед собой.

Грета смотрела на неё, выпуская дым в потолок, и вдруг усмехнулась иначе — с прищуром, в котором сквозило странное, почти восторженное любопытство.

— Ты, Грезе, как на бал собираешься. У тебя там кто-то есть? В лагере? Мужчины любят красивых, знаешь. А здесь мужиков хватает. Вон, Штайнфельд из канцелярии, он недавно спрашивал про тебя.

— Штайнфельд — старый пьяница, — бросила женщина с красной помадой. — Ему лишь бы юбку поднять.

— А тебе лишь бы языком чесать, — парировала Грета, а потом перевела взгляд обратно на Ирму и понизила голос: — Кстати, Грезе, ты знаешь, как тебя в лагере называют?

Ирма не спросила, но Грета всё равно сказала — **die Hyäne von Auschwitz**, гиена, и глаза у Греты блеснули, когда она произносила это слово, как будто речь шла о чём-то завидном, о чём-то, что делает Ирму не просто надзирательницей, а фигурой, легендой.

— Почему гиена? — спросила Ирма, вытирая лицо полотенцем.

— Потому что ты кружишь вокруг слабых. Выбираешь одну, смотришь, ждёшь. Как гиена. Они за тобой следят. Боятся. Это хорошо. Фрау Д. сама так сказала.

Ирма смотрела на своё отражение в треснувшем зеркале — трещина проходила по щеке, делила лицо на две половины, одну освещённую, другую в тени. Она поправила пилотку, взяла поводок, вышла.

Столовая для персонала была почти пуста — только несколько женщин пили кофе, ели булочки с маслом; пахло свежим хлебом, повидлом, жареным беконом. Ирма села в углу, взяла чашку, отломил кусок булки; кофе был сладким, горячим, масло таяло на языке. Она смотрела в окно — за стеклом виднелись бараки, серые, низкие, с маленькими окнами, и проволока, и вышки, и часовые с винтовками. Заключённые в лагере получали сейчас баланду — жидкую, безвкусную, пахнущую капустой и гнилью. Она не думала об этом. Она просто ела.

После завтрака — построение. Фрау Д. стояла перед строем, курила, смотрела на список. Лицо — каменное. Голос — резкий. Ирму отправили в блок В.

Пошла туда через плац, мимо других бараков, мимо пустых площадок, на которых когда-то, может быть, были цветы, а теперь — только утоптанная земля. По дороге встретила двух надзирательниц из соседних блоков — они кивнули ей, она кивнула в ответ. Её уже узнавали. Кара шла рядом, не отвлекаясь, не крутила головой, не нюхала землю — только иногда косилась на заключённых, которые попадались навстречу, и тогда Ирма слегка натягивала поводок, говорила «рядом», и собака возвращала взгляд вперёд.

В блоке В было темно и тесно. Пахло сыростью и чем-то кислым — как в Равенсбрюке, но сильнее, гуще; этот запах уже не вызывал тошноты, он стал частью воздуха, таким же привычным, как запах хлорки в казарме или пыли на бетонных дорожках. Женщины лежали на трёхъярусных нарах — головы бритые, лица серые, робы полосатые. Ирма прошла вдоль нар, считая: тридцать два, тридцать три, тридцать четыре. Она не сбивалась. Она научилась считать в Равенсбрюке, и это умение осталось с ней.

После переклички — завтрак для заключённых. Миски жидкого супа, куски хлеба, похожие на камни. Женщины ели быстро, жадно, отталкивали друг друга, прятали хлеб за пазуху. Ирма стояла у дверей, смотрела. Одна из заключённых — молодая, с большими глазами — не подошла к раздаче. Сидела на нарах, смотрела в стену. Ирма подошла.

— Почему не ешь?

Женщина не ответила.

— Я спросила: почему не ешь?

— Не могу, — голос был тихим, почти шёпотом.

— Не можешь или не хочешь?

Женщина подняла голову, посмотрела на Ирму. Взгляд был долгим, тяжёлым — не страх, не ненависть, не просьба, а что-то, чему Ирма не знала названия. Она вспомнила ту, из Равен-

сбрюка, — молодую женщину с большими глазами, которая смотрела на неё тогда, в первый день, и не отводила взгляд. Эта была похожа — такие же глаза, такая же худая, такая же бледная.

— Встать.

Женщина встала.

— Иди ешь.

Женщина пошла к раздаче. Ирма смотрела ей вслед.

Свободное время выпало только вечером. Ирма не хотела сидеть в комнате — там было душно, пахло чужими вещами, чужими духами, чужим табаком; она взяла Кару и пошла в казино для персонала — длинное деревянное здание с выцветшими флагами на стенах, с пианино в углу, за которым никто не играл, с длинными столами, покрытыми клеёнкой, и железными пепельницами, полными окурков. Пахло пивом, шнапсом, жареным луком, потом. Грета уже сидела за столиком в углу, курила, пила что-то мутно-жёлтое из гранёного стакана; рядом с ней двое эсэсовцев — молодые, с красными лицами, громкими голосами — смеялись, хлопали её по плечу, что-то говорили, но слов было не разобрать. Ирма села в другом конце зала, заказала кофе — принесла заключённая в грязном фартуке, с бритым черепом, с трясущимися руками; кофе был горьким, жидким, почти без вкуса.

Кто-то из женщин за соседним столом — Ирма не знала её — говорила громко, ни к кому не обращаясь:

— Когда всё это кончится, я уеду в Баварию. Там у тётки дом. Буду сидеть в саду, пить вино и никого не видеть.

— А я в Берлин, — сказала другая. — Хочу в кино. Всю жизнь мечтала, а тут...

Она не договорила. Ирма смотрела в пустоту. Вспомнила, как в детстве — в БДМ, в санатории, на заводе — ей казалось, что когда-нибудь она станет кем-то, кого будут видеть, кого будут замечать. Мечтала о кино. Об актрисах в журналах — красивых, богатых, счастливых. Теперь эта мечта казалась смешной, чужой, как будто принадлежала не ей, а другой девушке, которая умерла где-то по дороге.

Кара сидела у ног, положив голову на ботинок, и дремала.

Поздно вечером она вернулась в казарму. Соседки уже спали — одна на верхней койке, раскинувшись, свесив руку вниз; другая на нижней, свернувшись калачиком, лицом к стене. Ирма не стала зажигать свет. Села на койку, сняла сапоги. Достала щётку, ваксу, тряпку — и начала чистить. Тщательно, не спеша: сначала убрала грязь, потом нанесла ваксу, потом натёрла до блеска. Сапоги засветились, отражая тусклый свет из окна. Она посмотрела на свои руки — пластыря уже не было, кожа загрубела, пальцы стали толще, но ногти были чистыми, аккуратными — маникюр она делала каждые три дня, не пропуская. Это было единственное, что осталось от той девушки, которая когда-то прятала грязные руки в карманы юбки БДМ.

Через несколько дней — она не помнила, сколько, — она снова увидела ту заключённую. Ту, которая смотрела на неё в столовой, а потом не вставала, и Ирма не ударила, только сказала «встать» — и та встала. Женщина шла в колонне, возвращалась с работы; роба болталась на ней, как на вешалке, но спина была прямой, голова — поднятой, не как у других, которые смотрели в землю, шаркали ногами, шатались. У неё были волосы — коротко стриженные, но не бритые; значит, она работала в привилегированном блоке, может быть, в швейной мастерской, где шили для жён эсэсовцев. Ирма остановилась, посмотрела на неё. Что-то внутри — не гнев, не страх, не жалость, а что-то другое — поднялось, стало тёплым и пустым одновременно. Она запомнила номер, нашитый на робе. Три тысячи девятьсот двадцать два. Она не знала, зачем запомнила его. Просто запомнила.

На следующий день она специально пошла мимо блока, где жила эта женщина. Задержалась у входа, посмотрела внутрь — темно, тесно, нары, серые лица. Не увидела её. Постояла, повернулась, пошла дальше. Кара шла рядом, не отвлекаясь.

Через несколько дней она снова задержалась у того же блока. Женщина сидела на нижних нарах, чинила робу — игла мелькала в руках быстро, ровно, как швейная машина на заводе. Ирма смотрела на неё. Женщина подняла голову, посмотрела в ответ. Секунда, две, три. Ирма не отвела взгляд. Женщина — первая.

Грета заметила.

— Ты чего уставилась на эту? — спросила она, подходя сзади, закуривая.

— Так, — сказала Ирма. — Ничего.

— Смотри, Гресе. Фрау Д. не любит, когда надзирательницы с заключёнными якшаются.

— Я не якшаюсь.

— А что ты тогда делаешь?

Не ответила. Повернулась и пошла прочь.

Та ночь была тихой — без плача, без криков, только ветер шуршал по крыше и где-то далеко лаяли собаки. Ирма лежала на спине, глядя в потолок, в серые балки, на которых отсвечивал прожектор. Кара спала на полу, положив морду на лапы, и во сне шевелила ушами. Ирма не трогала её. Не гладила. Просто лежала, смотрела на потолок и ждала, когда придёт сон. Он не приходил. Она считала удары сердца — раз, два, три, до двадцати, до тридцати, до сорока, потом сбилась. Перевернулась на бок. Закрыла глаза. И только тогда, в темноте, за веками, поняла: она не погладила Кару. Не потому что не хотела. Потому что забыла. Впервые за много месяцев — забыла. Что-то другое заняло место. Что-то, чего она не могла назвать. Может быть, номер. Может быть, взгляд. Может быть, прямая спина, которую она видела в колонне. Она не знала. Но знала, что это — там. Внутри. И что оно — растёт. И что от него — не избавиться. Никогда.

8

Освенцим-Биркенау, весна 1943 года

Утром Ирма проснулась раньше пробудки — от резкого свиста ветра за окном и далёкого лая собак. Кара уже не спала, сидела рядом, положив тяжёлую голову ей на колено. Ирма поднялась, надела форму, затянула портупею, тщательно зачесала волосы и заколола их шпильками — всё по привычному порядку, без спешки и лишних движений. Позавтракав в полупустой столовой персонала, она вышла на улицу, где воздух обжёг лицо сыростью и запахом гари.

После завтрака её у выхода перехватила фрау Д. — не в кабинет, на ходу, по дороге к блоку Д, где уже собирались колонны заключённых, и Ирма подошла, поправила пилотку, одёрнула куртку, встала по стойке смирно; Кара села у ног, положила морду на лапы, ждала. Фрау Д. курила, смотрела на часы, на вышки, на серое небо, которое низко висело над лагерем, и дым от её сигареты смешивался с паром, поднимавшимся из труб крематория, и это была одна и та же субстанция — серая, тягучая, безвкусная. Она затянулась, выпустила струю в сторону, чтобы не летела в лицо Ирме, и заговорила быстро, не оборачиваясь.

— У тебя собака. Хорошая собака. Но она не натаскана на людей. Ты должна научить её работать. Не просто идти рядом, слушать команды «тихо» и «рядом». Она должна брать след. Должна хватать. Должна валить с ног. Должна рвать. Собака — это инструмент страха, как палка, только страшнее. Они боятся собак больше, чем палки, больше, чем пули. Потому что пуля — быстро. А собака — медленно, с болью, с рычанием, с кровью.

Ирма слушала, не перебивая. Кара сидела у ног, не отвлекаясь, только иногда косилась на заключённых, которые проходили мимо, и тогда Ирма слегка натягивала поводок, говорила «рядом», и собака возвращала взгляд вперёд. Фрау Д. затушила сигарету о подошву сапога, спрятала окурки в карман — чистота, никакого мусора — и достала новую, прикурила, выпустила дым.

— В блоке Д есть одна — номер три тысячи девятьсот двадцать два. Молодая. Двадцать лет. Рыжая. Сбежала два раза. Первый раз — в лес, поймали через три дня, вернули в блок. Второй раз — перелезла через проволоку, обожглась, часовой промахнулся, убежала, поймали через неделю. Часового расстреляли. А она жива. Сидит в карцере. Ждёт.

Ирма услышала номер и не сразу поняла, почему он знаком. Потом поняла. Та, из блока Д. Та, что чинила робу. Та, с прямыми плечами. Она смотрела на фрау Д. и ждала, что та скажет ещё что-нибудь. Фрау Д. не сказала.

Она повернулась к Ирме, посмотрела на неё долго, пристально, как тогда, в первый день.

— Выведут на плац. Твоя задача — спустить собаку. Пусть догонит. Пусть схватит. Не убивать — начальство хочет, чтобы она работала, руки у неё золотые, шьёт хорошо, — но покалечить можно. Ногу — в порядок, руку — заживёт. Главное, чтобы запомнила. Поняла?

— Поняла.

— Иди. Я посмотрю.

Пошла к блоку Д. Кара рядом, поводок свободно свисал. Дорога была длинной — мимо бараков, мимо проволоки, мимо пустых площадок, на которых когда-то, может быть, были цветы, а теперь — только утоптанная земля, грязь, в которой вязли сапоги. Небо было серым, низким, и ветер гнал по земле обрывки газет, на которых было напечатано что-то про победы на фронте, про новое оружие, про великое будущее; Ирма не читала — она смотрела под ноги, на лужи, в которых отражались вышки. Кара шла рядом, не отвлекаясь, не крутила головой, не нюхала землю; она уже привыкла к лагерю, к запахам, к крикам, к тишине, которая иногда наступала и была страшнее криков. Ирма чувствовала, как поводок слегка натягивается, когда

собака смотрит на заключённых, и тогда она говорила «рядом», и Кара возвращала взгляд вперёд.

Они подошли к карцеру — маленькому бетонному зданию с зарешеченным окном и железной дверью, за которой было темно и тихо. Часовой — молодой, скучающий, с автоматом на плече — козырнул, отпер замок, дверь открылась, и оттуда пахнуло мочой, гнилью и чем-то сладковатым, тошнотворным. Ирма заглянула внутрь — темнота, только чьи-то глаза блестели в глубине, и кто-то застонал, тонко, жалобно, как щенок. Она стояла перед этой дверью долго — секунду, две, три. Не потому что боялась. Не потому что не хотела. Просто стояла. И слушала. Как там, внутри, кто-то дышит. Кто-то живой. Кто-то, кого она знает. По номеру. По спине. По взгляду, который не отводят. И она знала, что сейчас откроется дверь. И что она увидит её. Ту самую. И что всё изменится. Или не изменится. Она не знала. Но стояла. И ждала.

— Семь тысяч двести одиннадцать, выходи!

Никто не вышел. Часовой крикнул снова, и тогда из темноты появилась женщина.

Вышла, шурясь от света, — молодая, с рыжими волосами, коротко стриженными, почти бритыми — в карцере обрили, — в робе, которая болталась на ней, как на вешалке, и грязь прилипла к подолу, к рукавам, к лицу. Женщина шла, шатаясь, волоча ноги, руки были связаны за спиной верёвкой, вьёвшейся в запястья, глаза — пустые, лицо — серое, только веснушки на щеках выделялись, яркие, как у ребёнка. Та самая. С ramпы. Её вернули. Ирма не знала, почему. Она не спрашивала. Женщина остановилась, посмотрела на Ирму. В её глазах не было страха, не было ненависти, не было просьбы.

Фрау Д. стояла в стороне, курила, смотрела на часы. На вышке часовой отвернулся — не хотел смотреть. Ирма заметила это, но ничего не сказала.

— Прикажи, — сказала фрау Д., выпуская дым.

Ирма подошла к женщине. Посмотрела на неё. Веснушки. Рыжие волосы. Тонкая шея, на которой билась жилка.

— Беги.

Женщина не двигалась.

— Беги, — повторила Ирма.

И тогда женщина улыбнулась. Не широко, не вызывающе — уголками губ, одними глазами. В этой улыбке не было ни страха, ни вызова, ни надежды. Было что-то другое — может быть, облегчение, может быть, усталость. Ирма не поняла. Она смотрела на эту улыбку и не понимала. Почему она улыбается? Ей сейчас будет больно. Её будет рвать собака. Она будет лежать в грязи. И она — улыбается. Не как человек, который сдался. Не как человек, который сошёл с ума. А как человек, который знает что-то, чего не знает Ирма. Что-то, что нельзя сказать. Что-то, что можно только — улыбкой. Ирма не понимала. И никогда не поймёт. Но запомнит. Навсегда. Женщина повернулась и побежала — не медленно, как ждали, а быстро, ровно, как будто только и ждала этого приказа. Роба хлопала на ветру, волосы развевались, босые ноги месили грязь. Кара рванулась вперёд, но Ирма не сразу отпустила поводок. Она смотрела на женщину, на её веснушки, на её улыбку. Потом разжала пальцы.

— Фас.

Собака догнала женщину за несколько секунд. Прыгнула, хватанула за ногу — не за икру, за щиколотку, точно, профессионально. Женщина упала, ударилась лицом о землю, но не закричала. Только выдохнула — громко, протяжно. Кара рычала, трясла головой, сжимала челюсти. Кровь текла по ноге женщины, по грязи, по серой траве, смешивалась с водой, становилась розовой.

Ирма стояла, смотрела. Она заметила, что у женщины порван рукав робы — от плеча до локтя, и сквозь дыру видна бледная, худая рука. Она запомнила это. Запомнила улыбку.

Фрау Д. стояла рядом, курила.

— Хорошая собака. Правильно натаскана. Теперь она запомнит. И другие запомнят.

Ирма подошла, взяла поводок, отозвала Кару. Собака послушалась, села у ног, облизала окровавленную пасть. Женщина лежала на земле, сжималась в комок, стонала. Часовые подошли, подняли её, поволокли обратно в карцер — она не сопротивлялась, не кричала, только смотрела в небо, в серое, низкое небо, из которого вот-вот должен был пойти дождь, и дождь пошёл — мелкий, холодный.

Фрау Д. затушила сигарету.

— Иди. Отдыхай. Завтра продолжим.

Ирма пошла в казарму. Дождь барабанил по крышам барачных, по бетонным дорожкам, по железным вышкам. Сапоги вязли в грязи.

Фрау Д. не ушла. Она стояла на краю плаца, курила, смотрела на Ирму долго, пристально. Дождь кончился, но ветер всё ещё дул, холодный, сырой.

— Ты справилась. Не ожидала. Думала, струсил. Многие струсят в первый раз. А ты нет.

— Это моя работа.

— Работа, — повторила фрау Д., и усмешка её была кривой, невесёлой. — Да, работа. Только работу надо делать хорошо. А хорошо — это когда собака слушается без поводка, без команды, по жесту. Завтра начнём тренировать. Поняла?

— Поняла.

— Ты, Грезе, не боишься?

— Чего?

— Ничего. И это хорошо.

Она повернулась и пошла прочь, не оглядываясь. Ирма смотрела ей вслед, потом перевела взгляд на свои сапоги — грязные, в бурых пятнах. Постояла, взяла поводок, сказала «рядом», и они двинулись к казарме.

В казарме было тихо — соседки ещё не вернулись с дежурства, и Ирма осталась одна. Кара легла на пол, свернулась калачиком, положила морду на лапы и закрыла глаза, но не спала — дышала часто, неровно. Ирма сидела на койке, смотрела на свои сапоги. Сняла их, поставила на пол, достала щётку, ваксу, тряпку.

Чистка сапог была ритуалом: сначала щёткой счищаешь грязь — жёсткую, колючую, она скребёт по коже, оставляет белые царапины, которые потом затираешь ваксой; потом наносишь ваксу — чёрную, пахнущую скипидаром, густую, как дёготь, — круговыми движениями, тряпкой, которая быстро чернеет, и пальцы становятся липкими, пахнут химозой; потом натираешь до блеска — сухой тряпкой, долго, терпеливо, пока сапог не начнёт светиться, отражать тусклый свет лампочки, висящей под потолком. Ирма чистила сапоги всегда в одном порядке: сначала левый, потом правый, сначала носок, потом каблук, потом боковины. Каждый вечер.

Сегодня сапоги не оттирались. Грязь сошла легко — серая, липкая, она осталась на тряпке комками, и Ирма выбросила её в мусорное ведро, стоявшее у двери. Но тёмные пятна — на носках, на каблуках, на боковинах — не оттирались. Она тёрла щёткой — они становились светлее, но не исчезали. Тёрла тряпкой с ваксой — они темнели, сливались с чёрной кожей, но стоило вытереть сапог насухо, как они проступали снова. Бурые, ржавые. Ирма смотрела на них и не могла вспомнить цвет глаз той женщины. Только веснушки. Только порванный рукав. Только улыбку.

Кара заворочалась во сне, заскулила. Ирма не протянула руку.

Соседки вернулись поздно — Грета, потом ещё две, которых Ирма не знала по именам. Они раздевались, переговаривались, смеялись — кто-то получил посылку из дома, кто-то сходил в казино, кто-то поссорился с эсэсовцем. Ирма не слушала. Поставила сапоги у кровати — левый, правый, носки к стене, — легла, натянула одеяло до подбородка. Кара подняла голову, посмотрела на неё, лизнула руку. Ирма не убрала руку, но и не погладила.

Прожектор за окном шарил по проволоке — свет, темнота, свет, темнота. Часовой на вышке стоял неподвижно, автомат на плече, и дождь, который всё ещё шёл, барабанил по

металлу, по крышам, по бетонным дорожкам, и где-то в женском лагере кто-то плакал — не громко, в подушку, так, чтобы не слышали, но в тишине ночи слышно всё. Ирма слышала, но не открывала глаз. Плач был чужим. Но улыбка не была чужой.

Она считала удары сердца — раз, два, три, до двадцати, до тридцати, до сорока. Потом сбилась. Повернулась на бок, натянула одеяло до подбородка. Кара вздохнула, придвинулась ближе, ткнулась носом в ладонь. Ирма отдернула руку. Кара заскулила, отошла, легла на своё место.

Прожектор делал своё дело. Ирма закрыла глаза и через некоторое время уснула. Без снов. Но перед тем, как уснуть, она снова увидела улыбку. Не во сне — за веками. Уголки губ. Одни глаза. И веснушки. Яркие. Как у ребёнка. Она не знала, почему это помнит. Не хотела помнить. Но помнила. И знала, что будет помнить. И завтра. И послезавтра. И всегда. Потому что это — единственное, что у неё теперь было. Не Кара. Не собака. Не тепло рядом. А — улыбка. Чужая. В грязи. В крови. И — её.

9

Освенцим-Биркенау, лето 1943 года

Она уже не помнила, когда в последний раз спала больше четырёх часов. Не потому что не могла — потому что не хотела. Сон был пустым, как всё остальное; просыпалась она с тем же чувством, с которым засыпала — с лёгкой тяжестью в затылке и пустотой в груди, которая уже не пугала, стала такой же привычной, как запах лагеря или стук собственных каблучков по бетонной дорожке. Кара спала у ног, положив морду на лапы, и во сне вздрагивала, скулила — негромко, почти беззвучно, — и Ирма уже не протягивала руку, не гладила, просто лежала и смотрела в потолок, на серые балки, на которых отсвечивал прожектор. Звёзд не было видно — никогда. Дым застилал небо, и прожекторы шарили по проволоке, и где-то за колючкой, в женском лагере, кто-то кашлял — не переставая, всю ночь, и этот кашель был единственным звуком, который напоминал о том, что там, за проволокой, ещё есть живые. Ирма не думала о них. Она думала о том, что завтра селекция, и нужно будет снова стоять на рампе, смотреть, как врач указывает палочкой, как люди идут направо или налево, и не отворачиваться. Она не знала, когда это началось. Когда сон стал пустым. Когда Кара перестала быть тёплой. Когда утро перестало отличаться от вечера. Может быть, после первой селекции. Может быть, после карцера. Может быть, всегда. Она не помнила. И не хотела помнить. Потому что помнить — значит чувствовать. А чувствовать она больше не могла. Не умела. Не хотела. Просто — вставала. Просто — шла. Просто — делала. Как машина. Как конвейер. Как всё здесь. И это — работало. Пока работало.

Утром она встала затемно — привычка, которую не сломать. Кара уже сидела у кровати, смотрела на неё влажными, преданными глазами, дышала часто и тепло. Ирма протянула руку, погладила собаку по голове, по ушам — одно стояло, другое падало, так и не встало, — потом села, спустила ноги на пол, нащупала сапоги, начищенные с вечера до зеркального блеска, но в утреннем полумраке казавшиеся тусклыми, как старая медь. В коридоре было тихо — только где-то в конце, за закрытой дверью, кто-то кашлял, сухо, надрывно, долго, и кто-то другой, женский голос, усталый, говорил что-то неразборчивое, ворчливое, и тут же замолкал. Ирма накинула халат — тонкий, синий, купленный в лагерной лавке за несколько марок, — взяла полотенце, мыло и пошла в умывалку, стараясь ступать бесшумно, но пол скрипел, и звук казался ей очень громким в тишине раннего утра.

В умывалке было пусто — только Грета стояла у раковины, чистила зубы. На ней была новая комбинация, шёлковая, чёрная, с кружевом, и Ирма заметила, как та ткань переливалась при тусклом свете лампочки, как кружево облегалo плечи, как Грета смотрела на себя в зеркало — не в маленькое, которое Ирма носила с собой, а в большое, треснувшее, висевшее на стене, и улыбалась собственному отражению. Пахло дешёвым мылом, мокрым телом, духами — Грета уже успела надушиться, резко, сладко, перебивая запах хлорки. Ирма подошла к раковине, открыла кран, умылась ледяной водой, вытерлась жёстким полотенцем. Грета обернулась, выплюнула воду.

— Грезе, ты слышала? Вечером вечеринка. У офицеров. Приглашённые только.

Ирма не ответила. Она достала из кармана халата маленькое зеркальце — овальное, в пластиковой оправе, — поставила его на полочку, достала щётку, расчёску, шпильки. Начала укладывать волосы — длинные, светлые, мягкие, они падали на плечи, на спину, почти до пояса; она расчёсывала их, проводя щёткой раз за разом, потом поднимала, закалывала шпильками. Пятнадцать минут. Каждое утро. Грета смотрела на неё, закуривая.

— Ты, Грезе, как на бал собираешься.

— Привычка.

Ирма достала помаду, провела по губам, аккуратно, не выходя за контур, поправила пилотку, одёрнула куртку. На поясе висела палка — короткая, резиновая, с ремешком. Кара сидела у ног, ждала. Ирма взяла поводок, и они вышли.

День был серым, низким. Небо висело над лагерем тяжёлой, свинцовой массой, и дым из труб крематория не поднимался, а стелился по земле, въедался в лёгкие, в глаза, в одежду, и этот запах — маслянистый, сладковатый, тошнотворный — уже не вызывал тошноты, стал таким же привычным, как запах хлеба в столовой или хлорки в казарме. Ирма вела колонну на завод, и заключённые шли, шаркая деревянными башмаками по бетонной дорожке, не поднимая голов; они были похожи на тени, на серые, одинаковые тени, и она уже не различала их лиц. Только цифры. Только места в строю. Только то, кто сегодня не встал, кто умер ночью, кого нужно заменить. Кара шла рядом, поводок свободно свисал, собака не отвлекалась, не крутила головой, только иногда косилась на заключённых, и тогда Ирма говорила «рядом», и Кара возвращала взгляд вперёд.

После обеда — селекция. Старшая надзирательница вызвала её, сказала: «Сегодня большая партия. Греки. Будешь стоять рядом, смотреть». Ирма кивнула, поправила пилотку, взяла поводок. Кара пошла рядом. Дорога к рампе была длинной — мимо бараков, мимо проволоки, мимо пустых площадок, на которых когда-то, может быть, были цветы, а теперь — только утоптанная земля, грязь, в которой вязли сапоги. Запах становился сильнее с каждым шагом. Кара шла прямо, прижав уши, поджав хвост, и Ирма чувствовала, как дрожит поводок: собака дрожала всем телом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.